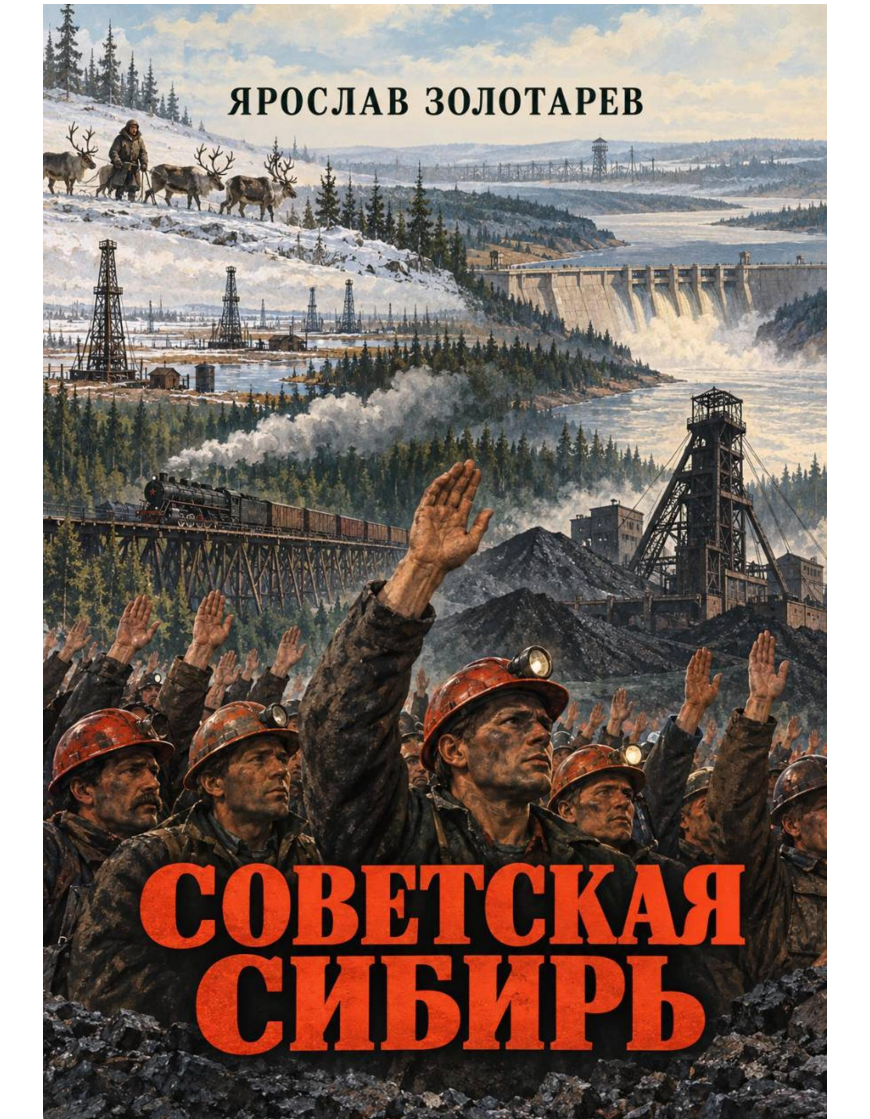




ЯРОСЛАВ ЗОЛОТАРЕВ

**СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ**

Ярослав Золотарёв

Советская Сибирь

<https://litres.ru/74660934>

SelfPub; 2026

Аннотация

Как Сибирь прожила семьдесят лет советской власти — не глазами Москвы, а глазами тех, кто здесь жил и работал? Пятый том серии «Сибирский социализм» охватывает 1922–1991 годы: от ревкомов, сменивших выборные Советы, и сибирского масла для Лондона до раскулачивания, трагедии Назино, лагерей Сиблага и Норильска, эвакуации, великих строек, тюменской нефти, Академгородка и борьбы за Байкал. Отдельные главы посвящены народам Севера, Якутии, Бурятии и Тувы. Финал — шахтёрские стачки Кузбасса 1989 года, когда рабочие впервые за десятилетия сами выбирали своих представителей и могли их отозвать. Автор видит в советском строе государственный капитализм, где хозяином была номенклатура, а мерой оценки делает самоуправление. В последнем разделе — три развилки: что было бы, если бы не свернули нэп, сохранили совнархозы, а рабочие комитеты не ушли в выборы. Книга опирается на архивные публикации, труды сибирских историков и англоязычные исследования.

Содержание

Введение	5
0.1. Ночная смена шахты имени Шевякова	5
0.2. Что стало с наследием	10
0.3. Как мы смотрим	14
0.4. Чему верить	19
0.5. Как устроена книга	24
Глава 1. Сибревком и Сибкрай	28
1.1. Власть без выборов	28
1.2. Партизаны после победы	35
1.3. Последние чёрные знамёна	42
1.4. Суд над эсерами	48
1.5. Сибирский край и американские товарищи	54
Глава 2. НЭП в сибирской деревне	63
2.1. Обмен «по усечённой формуле»	63
2.2. Деревня между налогом и рынком	68
2.3. Масло для Лондона	73
2.4. Кооперация: от союза к конторе	77
2.5. Рынок без рынка	81
Глава 3. Народы Сибири в 1920-е	87
3.1. Автономии, выданные сверху	87
3.2. Комитет Севера и родовые советы	93
3.3. Чьё самоуправление	98

3.4. Тунгусская республика	102
3.5. «Социализм без коммунистов»: якутские конфедералисты	106
Глава 4. Сибирь в изгнании	112
4.1. Харбин: русский город на чужой дороге	112
4.2. Прага и «Вольная Сибирь»	116
4.3. Сменовеховцы: Устрялов и возвращенцы	119
4.4. Гинс, солидаризм и харбинские фашисты	122
4.5. Длинная рука Москвы	127
Глава 5. Хлебная стачка и Сталин в Сибири	131
5.1. «Накопляйте!» Сибирь накануне перелома	131
5.2. Третья хлебная стачка	135
5.3. Сталин в Сибири	139
5.4. Статья 107: закон как маска	144
5.5. Деревня отвечает	149
Глава 6. Урало-сибирский метод	154
6.1. Передышка: осень 1928 года	154
6.2. Чёрные доски	159
6.3. Сход без воли: рождение метода	164
6.4. Пятикратка и Михайловское	170
6.5. «Блицкриг»	178
Глава 7. Серп	189
7.1. Подводы на Нарымском тракте	189
Конец ознакомительного фрагмента.	191

Ярослав Золотарёв

Советская Сибирь

Введение

0.1. Ночная смена шахты имени Шевякова

В ночь на 10 июля 1989 года в Междуреченске ночная смена шахты имени Шевякова — восемьдесят восемь человек — поднялась на-гора и не сдала светильники. Это был простой и всем понятный знак: в забой не пойдём, но и домой не уйдём. К утру к ним присоединились ещё две смены, и в нарядной собралось триста сорок четыре горняка. Никто не звал их на собрание и не назначал председателя. Фамилии выкрикивали из толпы, голосовали руками, и через несколько часов у шахты был стачечный комитет из одиннадцати человек. Возглавил его горный мастер Валерий Кокорин, коммунист, который ещё в декабре прошлого года писал о шахтных порядках в телепрограмму «Прожектор перестройки» и получил в ответ отписку (Лопатин, гл. 3).

Поводы были мелкими, причины — нет. За два дня до

стачки в шахтной столовой подали тухлое мясо. В июне горняки составили двадцать требований и собрали под ними около пятисот подписей. Среди требований было и знаменитое мыло: шахтёр, поднимаясь из забоя, не мог отмыть угольную пыль. Но за мылом стояли вещи посерьёзнее. Кузбасс жил в дефиците с 1930-х годов. Без жилья оставались сотни тысяч человек. Единый выходной шахтёры потеряли ещё в середине 1960-х. В 1988 году в шахтах области погибло 152 человека (Лопатин, гл. 1). Обком отвечал на всё это «планами мероприятий»: за четыре дня до стачки пленум обкома обсуждал товары народного потребления, а двумя месяцами раньше вопрос о жилье решили «с контроля снять».

11 июля на площадь вышел весь Междуреченск — около шестнадцати тысяч человек. Митинг шёл до ночи и избрал городской стачечный комитет. Обком объявил чрезвычайное положение, в город прилетел министр угольной промышленности Щадов, первый секретарь обкома Мельников напомнил, что коммунист бастовать не может. Не подействовало. На том же митинге один из горняков сказал то, что потом повторяли по всему бассейну: не колбаса и мыло нам нужны, нам нужна свобода и экономическая самостоятельность шахт (Лопатин, гл. 3).

Дальше стачка пошла, как пал по сухой траве. 12 июля встали Осинники и Прокопьевск — в Осинниках, по словам самих рабочих, «чтобы не пустили танки» на Междуреченск. 15 июля бастовали 188 предприятий и 108 тысяч человек, 17

июля — 167 предприятий и 181 тысяча: к шахтам примкнули заводы, в том числе военный. К 20 июля встала вся угольная отрасль страны — Донбасс, Воркута, Караганда (Лопатин, гл. 3).

Для этой книги важнее цифр то, как была устроена стачка. Комитеты возникали «в первые же минуты» прямо в нарядных; делегаты шахт составляли городской комитет, делегаты городов 16 июля в Прокопьевске создали Региональный забастовочный комитет — по два человека от городских стачкомов, по одному от посёлков, двое от горноспасателей. Начальство в зал не пустили. Делегаты честно признали, что им не хватает знаний, и позвали специалистов — так появился институт консультантов. Стачкомы сами следили, чтобы на шахтах работали водоотлив и вентиляция: затопить родную шахту никто не собирался. Они вместе с милицией патрулировали улицы, и в Прокопьевске за время стачки не было ни одного уличного преступления. Они ввели «сухой закон» и считали сидение дома прогулом — время забастовки полагалось проводить на площади. Перед ними отчитывались горкомы, Советы, милиция и даже КГБ. Лопатин, историк вполне либеральный и к анархистам равнодушный, назвал эти комитеты властью «не государственной, а общественной» (Лопатин, гл. 3).

19 июля в половине десятого утра Региональный забастовочный комитет и комиссия ЦК КПСС, Совета министров и ВЦСПС подписали документ из 35 пунктов. Слово «дого-

вор» сочли неприличным — партия не договаривается с народом, — и бумагу назвали «Протоколом о согласованных мерах». Председатель ВЦСПС, то есть глава официальных профсоюзов, подписал его со стороны власти, против рабочих; этой коллизии, как замечает Лопатин, никто даже не заметил. Пункт 31 оставлял стачкомы и после 1 августа — «в зависимости от складывающейся ситуации». К вечеру 20 июля шахты снова работали (Лопатин, гл. 3).

Мы начинаем книгу о семидесяти годах советской Сибири с её последних лет, потому что именно здесь хорошо видно, чем эти семьдесят лет кончились и с чего они начались. В 1920 году ревкомы, назначенные сверху, заменили в Сибири выборные Советы, партизанские съезды и земства; прошлый том рассказывал, как партизанская республика сходов уступила место назначенцам. В 1989 году сибиряки снова выкрикивали фамилии из толпы и голосовали руками — так, как голосовал сельский сход и партизанский съезд 1919 года. Никто их этому не учил: в советской школе об этом не рассказывали, а людей, которые помнили 1919 год, почти не осталось. Значит, привычка решать дело общим собранием и посылать наверх выборных с поручением пережила и коллективизацию, и лагерь, и семьдесят лет вертикали. Как она пережила их и что с ней делала власть все эти годы — главный вопрос этой книги.

Летом 1989 года независимые рабочие организации появлялись не только в Кузбассе. В середине мая на площади

Тяньаньмэнь в Пекине несколько сотен рабочих объявили о создании Пекинской рабочей автономной федерации — первого в КНР рабочего объединения вне официальных профсоюзов. Её палатки стояли на западной стороне площади рядом со студенческим лагерем; федерация требовала права на независимые профсоюзы и контроля рабочих над руководством предприятий. В ночь на 4 июня армия очистила площадь, федерацию объявили контрреволюционной организацией. Один из её основателей, железнодорожный электрик Хань Дунфан, сам пришёл в полицию и почти два года провёл в заключении, а затем был выслан из страны. Кузбасские стачкомы появились через месяц после пекинской расправы — и уцелели. Разница была не в рабочих, а в государстве: советская вертикаль 1989 года уже не могла и не решалась стрелять. В 1962 году в Новочеркасске она стреляла в бастующих, а за тридцать лет до того делала вещи и пострашнее.

Чтобы понять, откуда взялись и стачкомы 1989 года, и страх перед танками, с которым Осинники вставали на помощь Междуреченску, нужно вернуться на семьдесят лет назад — туда, где закончился прошлый том.

0.2. Что стало с наследием

15 ноября 1922 года ВЦИК принял декрет о включении Дальневосточной республики в состав РСФСР. За день до этого Народное собрание ДВР, окружённое демонстрантами, «единодушно» попросило об этом само. Последнее сибирское государство с парламентом, несколькими партиями и свободной печатью — пусть демократической витриной, за которой стояли коммунисты, — исчезло через три недели после того, как из Владивостока ушли японцы. Прошлый том заканчивался этой датой: от Тихого океана до Урала не осталось ни одного органа власти, который сибиряки избрали бы сами, а не получили из Москвы.

Что после этого уцелело? В конце прошлого тома мы говорили, что Сибирь трижды проиграла — в 1918, в 1919 и в 1921 году — по причинам экономическим и социальным, а не потому, что её политики были глупее московских: колония без заводов, без своих кадров, с тонким слоем местной интеллигенции. Но от семнадцати революционных лет осталось и другое — опыт. Сибиряки знали, как собрать волостной сход и выгнать урядника, как выбрать земскую управу, как соединить кооперативы в союз, торговавший маслом с Лондоном, как созвать областную думу и как держать фронт партизанской республикой, где каждый уровень власти выбирал следующий. Мы обещали рассказать, что случилось с

этим наследием в советские годы. Этот рассказ и есть книга. Её можно свести к трём вопросам.

Первый вопрос — о самоуправлении. В Сибири 1922 года было три живые формы низовой организации: сельский сход, кооперация и Советы, ещё помнившие, что их когда-то выбирали. Советская власть не отменила ни одну из них. Она поступила хитрее: присвоила все три и заставила работать на себя. Советы стали придатком партийного комитета задолго до того, как это записали в конституцию. Кооперация, которую до 1929 года деревня считала своей, превратилась в государственную заготовительную контору, а затем в колхоз. Сход власть сохранила дольше всего — и именно сход в 1929 году стал орудием «урало-сибирского метода»: план хлебозаготовок раскладывали «по решению общего собрания», а несогласных бойкотировали и штрафовали в пятикратном размере те же соседи (гл. 6). Мы проследим, как вертикаль присваивала самоорганизацию, — и как самоорганизация снова и снова возвращалась: в анонимных крестьянских письмах 1930 года, в неуставных артелях спецпереселенцев, в восстании заключённых Норильска в 1953-м, в научных городках, в экологических движениях и, наконец, в стачках 1989 года.

Второй вопрос — о ренте. Прошлый том начинался с того, что Транссиб был дорогой сквозь Сибирь, а не к ней, и Азиатская Россия давала три с половиной процента промышленной продукции империи. Советская власть сделала

Сибирь регионом-заводом: Кузнецкий комбинат, Норильск, Братск, Саяногорск, БЭМ. Это была реальная модернизация, и спорить с этим глупо. Но строили её центр для центра и в огромной части — руками людей, которых сюда привезли не спрашивая: спецпереселенцев, заключённых, депортированных. Хозяин сибирской ренты сменился, а сама рента осталась рентой: уголь, лес, никель, нефть и газ уходили на запад, решения о них принимали в Москве, а издержки — затопленные деревни, отравленные реки, вытоптанные пастбища — оставались на месте.

Третий вопрос — о народах. В 1920-е годы советская власть дала коренным народам Сибири больше, чем дало бы любое белое правительство: автономии, письменность, школы на родном языке, первые национальные кадры. Мы признали это в прошлом томе и не отказываемся от своих слов. Но в 1930-е годы те же кадры были в большинстве расстреляны, кочевья насильственно осажены, дети отправлены в интернаты, и к 1980-м многие языки Сибири оказались на грани исчезновения. А в 1990 году представители малочисленных народов Севера впервые собрались на свой съезд сами, без Комитета Севера и без обкомов.

Кроме трёх вопросов, у книги есть долг перед людьми прошлого тома. Евгений Колосов, историк сибирских эсеров, Григорий Гуркин, алтайский художник и областник, Анатолий Пепеляев, последний генерал гражданской войны в Сибири, и Иван Строд, его противник, — все они дожи-

ли до 1937–1938 годов и были убиты государством в мирное время. Мы расскажем, как это произошло.

Осенью 1922 года самоуправление проиграло не только в Сибири. 28 октября, за две с половиной недели до упразднения ДВР, фашисты двинулись на Рим, и король поручил Муссолини сформировать правительство. Двумя годами раньше, в сентябре 1920 года, рабочие Турина и Милана заняли заводы и несколько недель сами вели производство через фабричные советы, о которых писал в своём «Ордине нуово» молодой Антонио Грамши. Захват закончился компромиссом с хозяевами, а чернорубашечники, получившие деньги промышленников и молчаливое согласие полиции, за два года разгромили рабочие палаты, кооперативы и крестьянские лиги долины По. Режимы Москвы и Рима были противоположны по целям и по языку, но осенью 1922 года оба поставили точку в эпохе советов, которая началась в Европе в 1917 году. Итальянским рабочим пришлось ждать возвращения своих советов двадцать с лишним лет, сибирским — шестьдесят семь.

Как смотреть на эти шестьдесят семь лет, если не хочешь ни повторять советский учебник, ни заменять его новым, столь же удобным для власти мифом? Об этом — следующий параграф.

0.3. Как мы смотрим

«В нашей стране построен извращённый социализм: вместо общественной собственности — государственная, вместо народовластия — власть партии и чиновников». Эти слова прозвучали 18 ноября 1989 года в Новокузнецке, в прямом эфире на весь Кузбасс, с трибуны IV конференции рабочих комитетов. Четыреста сорок семь делегатов — шахтёры, металлурги, железнодорожники, преподаватели вузов — учреждали Союз трудящихся Кузбасса и принимали его программное заявление. Целью они назвали общество, где собственность и власть принадлежат народу, а не государству, которое говорит от его имени (Лопатин, гл. 4). Обком потом хвалился, что сумел вписать в документ фразу «рабочий союз не претендует на роль партии»; рабочие, кажется, и не претендовали — они хотели не новой партии, а другого устройства.

Мы начинаем разговор о своём взгляде с этой цитаты, потому что кузбасские делегаты, не читавшие ни Бакунина, ни Кропоткина, сформулировали главное различие нашей книги точнее, чем это сделали бы многие профессора. Собственность бывает частной, государственной и общественной. Первую защищают либералы, вторую — государственные социалисты, третью — анархисты, и путать вторую с третьей нельзя. Если заменить частного хозяина чиновником,

а владельца завода — министерством, господство не исчезнет: изменится только его вывеска. Советский Союз мы поэтому описываем не как «социализм, который не удался», и не как злодейство отдельных людей, а как общество, в котором государственная собственность подменила общественное самоуправление и присвоила себе его имя.

Отсюда первое правило нашего анализа: искать причины в устройстве, а не в характерах. Сталин, Эйхе, Сырцов, Ягода, Берман и десятки их сибирских подчинённых — настоящие люди, у каждого была своя мера вины, и мы будем называть их по именам. Но коллективизация, высылки и лагеря не были капризом одного человека. Их породила система, в которой небольшая организованная группа — номенклатура — распоряжалась всеми ресурсами страны, отвечала только перед вышестоящим начальством и отбирала в свои ряды не самых способных, а самых лояльных. Такую группу социологи называют доминирующей и давно описали её закономерности: она переоценивает собственную правоту, не слышит неприятных сведений и получает снизу ту картину, которую хочет видеть. Плановое хозяйство с его приписками, рапортами наверх и «докладной» реальностью — прямое следствие этого устройства. Прошлый том показал, как Москва за три года создала из городских низов новый правящий слой; этот том покажет, как этот слой правил Сибирью семьдесят лет.

Второе правило: следить за тем, как государство обраща-

ется с самоорганизацией. Оно редко уничтожало её прямо. Чаще оно её присваивало: оставляло название и форму, но меняло хозяина. Сход продолжал собираться — но голосовал за план хлебозаготовок, спущенный из района. Кооператив продолжал называться кооперативом — но его правление назначалось сверху. Советы продолжали избираться — но кандидат был один. Для каждого института, который называет себя народным, у нас есть простой проверочный вопрос, вернее, четыре вопроса. Кто дал полномочия этому органу? На какой срок и для какой задачи? Кто контролирует его работу? Кто может его отозвать? Если ясных ответов нет, перед нами не самоуправление, а новая власть, пусть даже она говорит языком социализма. Стачкомы 1989 года на эти вопросы отвечали: полномочия дала смена или город, срок — до конца стачки, контролирует собрание, отозвать может оно же. Сельсовет 1937 года — нет.

Третье правило касается Сибири как территории. Мы различаем региональный интерес и региональный капитализм. Если сибирский уголь вывозят и прибыль от него получают в Москве, это эксплуатация края. Но если бы ту же прибыль получал сибирский хозяин, эксплуатация осталась бы эксплуатацией: она зависит не от места рождения владельца, а от того, решают ли что-нибудь люди, которые живут на этой земле, работают на ней и дышат её воздухом. Поэтому нас интересуют не только споры Новосибирска с Москвой о капиталовложениях, но и то, спрашивал ли кто-нибудь ханта,

через чьи уголья тянули нефтепровод.

Четвёртое правило — о народах. Принудительное «слияние наций» — такая же государственная политика, как национальное угнетение. Когда власть объявляет язык или обычай «пережитком», который надо ликвидировать ради единства, она действует так же властно, как националист, требующий от меньшинства раствориться в большинстве. Мы защищаем не нацию как государство, а право людей самим сохранять, менять и передавать свою культуру. И мы помним урок, который дал нам материал предыдущих томов: малые есть и внутри малых, и «местное» самоуправление не всегда доброе. В 1920-е годы самыми хищными по отношению к коренным народам часто оказывались не московские комиссары, а старожильческие районные исполкомы.

И последнее. Мы не скрываем своих симпатий: они на стороне тех, кто пытался решать свои дела сам, — крестьянско-го схода, кооператора, стачкома, северного суглана. Но симпатия не освобождает от проверки фактов. Советская модернизация Сибири была реальной: школы, больницы, вузы, электростанции, научные городки появились там, где их прежде не было. Мы не станем делать вид, что этого не было. Вопрос в другом — какой ценой, чьими руками и в чьих интересах это было сделано.

Ровно в те дни, когда в Новокузнецке зачитывали программу Союза трудящихся, в Праге начиналась революция. 17 ноября 1989 года полиция разогнала студенческую де-

монстрацию на Народном проспекте, на следующий день забастовали студенты и театры, а 19 ноября в театральном клубе «Чиногерни» был основан Гражданский форум. Его опорой стали стачечные комитеты заводов и университетов, а 27 ноября двухчасовая всеобщая забастовка показала, что страна не будет работать на старую власть. Через месяц президентом стал драматург Вацлав Гавел. Но стачкомы, которые сделали эту революцию, быстро уступили место партиям и экспертам, и через два года главным вопросом чехословацкой политики стала ваучерная приватизация. Самоорганизация, свергнувшая государственную собственность, сама не стала собственником. Тот же путь, как мы увидим в последних главах книги, прошёл и Кузбасс.

Различать формы собственности и проверять мандаты можно только на достоверных фактах. А с фактами о советской Сибири дело обстоит непросто: о чём-то источники молчат, о чём-то лгут, а о чём-то спорят между собой.

0.4. Чему верить

С 3 по 22 августа 1933 года инструктор Нарымского окружкома партии Василий Величко ездил по таёжным посёлкам по Оби и её притокам и расспрашивал людей. Никто не поручал ему этого расследования. Он слышал о том, что весной на остров у впадения Назины в Обь высадили несколько тысяч человек, высланных из Москвы и Ленинграда, без жилья, без инструментов и почти без еды, и хотел понять, что там произошло. Потом он написал письма Сталину, первому секретарю крайкома Эйхе и председателю крайисполкома Левицу. Политбюро обсудило его письмо только 10 марта 1934 года. Красильников, исследовавший эту историю по архивам, считает, что инструктор дал более верную картину и сделал более глубокие выводы, чем все официальные комиссии, — а ведь правду донёс до Москвы не аппарат контроля, а рядовой партиец, действовавший по собственной совести (Красильников, с. 104).

Письмо Величко почти шестьдесят лет пролежало в архиве. Историки узнали о нём только в 1990-е годы, когда архивы приоткрылись. Эта история хорошо показывает, с какими источниками нам придётся работать.

Первый слой — советская академическая история. Пяти томная «История Сибири», последние тома которой вышли в 1968–1969 годах, — главный свод фактов о советском пе-

риоде, и мы будем опираться на её цифры добычи, посевов,строек и численности населения. Но её оценкам верить нельзя, и авторы сами объяснили почему. Во введении к четвёртому тому сказано прямо: ленинские оценки событий «служили основным критерием для характеристики исторического процесса». Там же сибирское областничество названо контрреволюцией того же рода, что «каледи́нщина на Дону», — то есть движение, которому посвящены все предыдущие тома нашей серии, советская наука ставила в один ряд с белыми казачьими атаманами. О раскулачивании там говорится как о ликвидации «эксплуататорских классов», о спецпереселенцах — как об «устройстве переселённых кулацких семей», о Назино — ни слова. Поэтому из советской литературы мы берём цифры и факты, проверяя их, где можно, а оценки — никогда.

Второй слой — исследования, написанные после 1991 года по рассекреченным документам. Книги новосибирских историков — Владимира Ильиных о хлебозаготовках и Сергея Красильникова о крестьянской ссылке — опираются на донесения ОГПУ, протоколы бюро крайкома, отчёты комендатур. Это лучший материал о 1920–1930-х годах, какой у нас есть. Но и здесь нужна осторожность: документы власти показывают мир глазами власти. Информация, как предупреждает Красильников, искажалась в фильтрах личных, групповых и ведомственных интересов — и когда шла сверху вниз, и когда поднималась снизу вверх. Комендант зани-

жал смертность в своём посёлке, оперативник завышал число «кулацких террористов», секретарь райкома докладывал о стопроцентном выполнении плана. К тому же в последние годы доступ к архивам государственной безопасности снова сократился, а отечественная историческая литература всё сильнее подстраивается под официальные требования. Поэтому мы сознательно сверяем русскоязычную литературу с работами западных историков.

Третий слой — взгляд извне. Американец Юрий Слёзкин, автор «Арктических зеркал», и британец Джеймс Форсайт, автор «Истории народов Сибири», писали о сибирских народах, не завися от советской цензуры. Но Форсайт работал до открытия архивов, по советским же публикациям, и его даты приходится проверять; Слёзкин пишет прежде всего о малых народах Севера и мало — о русской Сибири.

Четвёртый слой — участники событий. Леонид Лопатин, историк рабочего движения Кузбасса, сам был одним из его деятелей, писал по горячим следам и не скрывал своих взглядов: для него социализм — это «эксплуатация государством», а рынок и частная собственность — выход. Его факты бесценны, его оценки мы отделяем от фактов. Так же мы поступаем и с теми, кому симпатизируем: историк анархизма Дмитрий Рублёв сочувствует своим героям, и это тоже надо учитывать.

Пятый слой, самый драгоценный и самый редкий, — голоса снизу. Анонимные крестьянские письма весны 1930 года,

которые ОГПУ собирало как улики, а мы читаем как свидетельства. Жалобы спецпереселенцев. Протоколы стачкомов. Записи северных этнографов. Таких текстов мало, и каждый из них мы постараемся услышать.

Правило для цифр простое: если источники расходятся, мы приводим обе оценки и называем, откуда они взяты. В прошлом томе мы написали, что в Назино погибло около четырёх тысяч человек. Красильников по документам комендатуры насчитывает за первый месяц от полутора до двух тысяч погибших из 6074 высаженных на остров, а гибель людей продолжалась потом в таёжных посёлках. В главе 9 мы приведём обе цифры и объясним разницу.

Весной того же 1933 года мир узнавал о советской деревне примерно так же — через немногих свидетелей, которым верили не все. В марте валлийский журналист Гарет Джонс, трижды побывавший в СССР, прошёл пешком по сёлам Харьковщины, а 29 марта на пресс-конференции в Берлине рассказал о массовом голоде. Через два дня московский корреспондент «Нью-Йорк таймс» Уолтер Дюранти, лауреат Пулитцеровской премии, ответил ему статьёй под заголовком «Русские голодают, но не умирают с голода». Иностранным корреспондентам запретили выезжать из Москвы, и большинство из них промолчало. Джонс погиб в 1935 году в Маньчжурии при невыясненных обстоятельствах, Дюранти сохранил премию. Правда о советской деревне 1930-х годов пробивалась тогда через одиночек — через Джонса

на Западе и Величко в Нарыме — и через одиночек же была впервые рассказана.

Как мы расположили эти источники и факты по главам — об этом последний параграф введения.

0.5. Как устроена книга

Книга идёт по времени — от упразднения Дальневосточной республики в ноябре 1922 года до августа 1991-го — и делится на восемь разделов.

Раздел I («Сибирский край: нэп и его конец», 1922–1928) рассказывает о том, как ревкомы и Сибревком сменили выборную власть, как жила сибирская деревня при нэпе, что получили от советской власти коренные народы в 1920-е годы и что стало с сибиряками, ушедшими в эмиграцию. Раздел кончается поездкой Сталина в Сибирь зимой 1928 года, с которой начался конец нэпа (гл. 1–5).

Раздел II («Великий перелом», 1928–1933) — о том, как сход превратили в орудие хлебозаготовок, как деревня сопротивлялась коллективизации, как сибирских крестьян высылали на север, о трагедии Назино, о спецпосёлках и комендатурах и о том, как «классовую борьбу» принесли в тундру (гл. 6–11).

Раздел III («Колония-завод», 1929–1941) — об индустриализации: Кузнецкий комбинат, лагеря Сиблага, Дальстроя и Норильска, 1937 год и культурная революция (гл. 12–15).

Раздел IV («Война и тыл», 1941–1945) мы пишем иначе, чем принято. Нас интересует не сама война и не её оценки, а то, что она сделала с хозяйством и обществом Сибири: эвакуированные заводы, новые города, труд и голод, трудармия,

депортированные народы, деревня без мужчин, присоединение Тувы (гл. 16–18).

Раздел V («Послевоенная Сибирь», 1945–1964) — о восстаниях в лагерях и их закате, о хрущёвских совнархозах как первой и последней попытке дать регионам хозяйственную самостоятельность, о целине, Академгородке и великих стройках на Ангаре и Енисее (гл. 19–22).

Раздел VI («Нефть, газ и застой», 1964–1985) — о Тюменском Севере и БАМе, о Байкале и первых экологических движениях, о судьбе северных народов в эпоху «освоения» и о застое (гл. 23–26).

Раздел VII («Самоорганизация снизу», 1985–1991) — о неформалах, в том числе о сибирских анархо-синдикалистах, о забастовке 1989 года и рабочих комитетах, о 1990–1991 годах, когда рабочие и малые народы впервые за семьдесят лет заговорили своим голосом, — и о том, почему у власти в итоге осталась прежняя номенклатура (гл. 27–29).

Раздел VIII («Развилки») — три альтернативы, как в прошлом томе: что было бы, если бы в 1928 году нэп не свернули, если бы в 1960-е годы устояли совнархозы и если бы рабочие комитеты в 1989–1991 годах не ушли в выборы, а стали властью (гл. 30–32).

Внутри глав текст делится на параграфы; ссылки внутри книги даются на номер главы или параграфа. Источники цитируются в скобках — по автору и странице. В каждом параграфе есть одна зарубежная параллель — событие тех же

месяцев или лет в другой стране, — чтобы читатель видел Сибирь не на отшибе мира, а внутри его истории. Параллели с Латинской Америкой мы даём скупой: ей был посвящён третий том серии. В конце книги — список литературы.

Последняя развилка — рабочее самоуправление — это не только наша фантазия. В соседней стране его однажды попробовали всерьёз. 27 июня 1950 года Скупщина Югославии приняла закон о передаче государственных предприятий в управление трудовым коллективам: на каждом заводе выбирался рабочий совет, который нанимал директора и распоряжался частью дохода. Когда Хрущёв в 1957 году передавал сибирские заводы совнархозам, югославские рабочие советы существовали уже семь лет. Но и там самоуправление жило внутри однопартийного государства: директоров согласовывал партийный комитет, предприятия конкурировали на рынке, бедные республики отставали от богатых, сотни тысяч рабочих уезжали на заработки в Западную Германию. В 1991 году Югославия распалась в войне, и рабочие советы исчезли вместе с ней. Этот опыт мы вспомним в последнем разделе — как довод и в пользу самоуправления, и против надежды на то, что его можно учредить сверху.

А начнём мы с того, с чего начинается любая власть, пришедшая на место выборной: с назначенцев. Первая глава — о Сибревкоме и Сибирском крае 1920-х годов.



Глава 1. Сибревком и Сибкрай

1.1. Власть без выборов

Осенью 1919 года с московского вокзала ушёл на восток санитарный поезд, оставшийся от мировой войны. В нём ехало около трёхсот человек — продовольственные комиссары, администраторы, конторские служащие: весь будущий аппарат управления Сибирью, которую Красная армия ещё только отбивала у Колчака. Тем же поездом ехали члены Сибревкома Моисей Фрумкин и Василий Косарев; председатель Иван Смирнов был при штабе Пятой армии. Об этом рейсе рассказал в своих воспоминаниях Пётр Петров, старый социал-демократ, которого ЦК послал в Сибирь читать лекции и учить новые кадры. Перед отъездом Каменев объяснил ему, почему с Сибирью нужна осторожность: здешние крестьяне не знали помещиков, чувство независимости у них сильнее, и если «наши» поведут себя здесь так же, как на Украине, выйдет катастрофа. До Челябинска поезд шёл месяц: мосты были взорваны, военные эшелоны шли первыми. На станциях попутчики Петрова выменивали у крестьян кур, сало и масло на мыло и спички, а местные комиссары гоняли тех же крестьян со станций как спекулянтов. Член Сиббюро Александр Спундэ, которого Петров считал негласным

сотрудником ВЧК, всю дорогу присматривался к каждому служащему и вместе с Фрумкиным и Косаревым составлял на них досье (Петров, гл. 23).

Власть, которая шесть лет правила Сибирью от Урала до Якутии, приехала сюда в вагонах — с мандатами, выписанными в Москве. В Челябинске рабочие на собраниях спрашивали Петрова, когда будут выборы в Советы. Сибревком и Сиббюро, пишет он, выборов боялись и хотели надолго поставить повсюду назначенные ревкомы; решение отложить выборы прошло небольшим большинством. Петров спорил на губернской партийной конференции, добивался отчётов комиссаров перед партийными собраниями и пытался проверить омскую ЧК, пока Сиббюро и Сибревком не остановили проверку на закрытом заседании. Весной 1920 года он уехал в Москву и рассказал в ЦК о недовольстве, которое росло в Сибири; Фрумкина отозвали. Петров писал свои воспоминания в эмиграции, разойдясь с большевиками, и себя в них не забывает. Но в главном — что Сибирью управлял аппарат, приехавший из Москвы, и что этот аппарат не любил выборов, — с ним согласны и советские историки. Авторы «Истории Сибири» писали о ревкомах с одобрением, но перечислили их черты честно: «строжайший централизм, назначенство, беспрекословная революционная дисциплина» (т. 4 ИС, с. 753).

Устройство этой власти было простым. Положение о Сибревкоме, утверждённое Совнаркомом 7 октября 1920 года

за подписью Ленина, поручало ему поддерживать «революционный порядок» и руководить всеми административными и хозяйственными органами края. Ему подчинялись Омская, Томская, Алтайская, Енисейская, Семипалатинская и Иркутская губернии и Якутская область (т. 4 ИС, с. 753). Весной 1920 года в губерниях и уездах начали выбирать Советы, но над ними так и остался Сибревком, а над Сибревкомом — Сибирское бюро ЦК РКП(б). С апреля 1920 года членов Сиббюро прямо назначал ЦК, и отвечали они только перед ним; за четыре года через бюро прошло двадцать семь человек. Цепочка шла сверху вниз: Политбюро — Сиббюро — Сибревком — губернские исполкомы — уезды и волости — сельсовет. Каждое звено отчитывалось перед тем, что выше, и ни одно — перед теми, кем управляло.

Даже столицу Сибирь получила по решению сверху. В начале 1921 года Сибревком решил перебраться из Омска в Новониколаевск — молодой город у моста Транссиба через Обь, удобный для того, кто управляет дорогой и вывозит хлеб. Решение принимали наспех, против воли многих заинтересованных лиц. Летом 1921 года тысячи служащих с семьями переехали в город, где не было для них ни квартир, ни помещений, и жилищный кризис, начавшийся с этого переезда, растянулся на десятилетия (Папков). 23 июня 1921 года в Новониколаевске вышел первый номер «Советской Сибири» — газеты Сибревкома, переехавшей вместе с ним.

Людей на высшие посты в Сибири тоже присылали и от-

зывали, как офицеров. Иван Смирнов, москвич и большевик с двадцатилетним стажем, возглавлял Сибревком и Сиббюро и был членом Реввоенсовета Пятой армии; в 1921 году ЦК перевёл его в Петроград. После недолгого межвластия, когда обязанности председателя исполнял Станислав Чуцкаев, в 1922 году Сибревком возглавил Михаил Лашевич, уроженец Одессы, одновременно командовавший войсками Сибирского военного округа: гражданская и военная власть над краем оказалась в одних руках. В 1925 году его забрали в Москву заместителем наркома по военным и морским делам. Сибиряки не выбирали ни того, ни другого и не могли отозвать ни того, ни другого. Харбинские эмигранты, рядом с которыми Лашевич умер в 1928 году, будучи заместителем председателя правления КВЖД, называли его сибирским сатрапом (Кротова).

Чем занимался этот аппарат? Прежде всего — хлебом и налогами. Через Сибирский продовольственный комитет шла разверстка 1920–1921 годов в 110 миллионов пудов, о которой мы писали в прошлом томе (т. 4 серии, 24.3); первый продналог 1921–1922 годов, по оценке Кокоулина, собирали методами не мягче разверстки (т. 4 серии, 25.5). Когда нэп потребовал денег, в 1922 году штаты общесибирских учреждений сократили с 1427 до 835 человек. Низовой сельсовет, признают авторы «Истории Сибири», занимался почти одними налоговыми делами, и всю работу вели в нём председатель и секретарь (т. 4 ИС, с. 209–210). Сибревком

открывал школы, восстанавливал маслозаводы и давал крестьянам кредит, и мы не станем этого отрицать. Но школы открывали и губернаторы. Вопрос не в том, был ли орган полезен, а в том, кто его поставил и перед кем он отвечал.

Сегодня можно услышать, что Сибревком и выросший из него Сибирский край были той самой сибирской автономией, о которой мечтали областники, и что дала её Сибири наконец советская власть. Проверим это четырьмя вопросами, которые мы условились задавать любому органу, называющему себя народным (0.3). Кто дал Сибревкому полномочия? Совнарком в Москве. На какой срок? Ни на какой: чрезвычайный орган, созданный «до нормальных условий», просуществовал шесть лет. Кто его контролировал? ЦК через назначенное им же Сиббюро. Кто мог его отозвать? Только Москва — и она отзывала, когда хотела, как отзывала Фрумкина, не спросив сибиряков. Потанин и Ядринцев требовали выборной сибирской думы, которая сама решала бы судьбу сибирской земли, недр, школ и переселения. Сибирская областная дума 1917–1918 годов выросла из организаций, которые сибиряки создали сами, — из земств, кооперативов, городских дум и Советов (т. 4 серии, 10.4, 11.1). Сибревком не вырос ни из чего сибирского, кроме самой территории. Он был не автономией, а филиалом центра размером в половину континента.

Ближе всего к нему в сибирской истории стоят не областники, а Сперанский. Ровно за сто лет до упразднения ДВР, в

1822 году, Петербург разделил Сибирь на два генерал-губернаторства — Западное и Восточное — с главными управлениями, назначенными из столицы и ответственными только перед ней (т. 1 серии). Сибревком повторил эту схему: большая сибирская администрация, сибирская по месту, но не по происхождению власти. Изменились вывеска и цель — вместо империи и ясака социализм и хлебозаготовки, — но не направление, в котором шли приказы. Поэтому, когда коммунисты примеряют к Сибревкому областнический костюм, они путают регион управления с самоуправлением региона.

Осенью 1923 года центр показал, как он относится к непослушному региону, и в Германии. В Саксонии левый социал-демократ Эрих Цейгнер в октябре взял в правительство коммунистов, и они готовили рабочие сотни. 29 октября по чрезвычайному декрету президента Эберта рейхсвер вошёл в Дрезден, министров вывели из кабинетов, а управление землёй на несколько дней передали назначенному из Берлина имперскому комиссару; в ноябре так же поступили с Тюрингией. Правой Баварии, открыто не подчинявшейся Берлину, никто не тронул, пока 8–9 ноября в Мюнхене не грянул гитлеровский путч. Рейхсэкзекуция была ударом центра по местной демократии, и немецкие рабочие её запомнили. Но и после неё в Саксонии остался выборный ландтаг, который уже 31 октября избрал новое правительство. В Сибири 1923 года такого ландтага не было. Сибревкому не нужно было свергать выборную сибирскую власть: её разогнали

ещё в 1918 году, а партизанские съезды 1919 года сменили назначенцами к весне 1920-го.

Оставались, однако, люди, которые помнили эти съезды и сами привели советскую власть в Сибирь, — партизаны. С ними назначенной власти пришлось разбираться в первую очередь.

1.2. Партизаны после победы

25 февраля 1922 года у деревни Власихи под Барнаулом был убит Ефим Мамонтов. За два с половиной года до этого, в октябре 1919-го, съезд избрал его командующим партизанской армией Западной Сибири — той самой, что вместе с Красной армией добила колчаковский фронт на Алтае. После победы Мамонтова назначили помощником инспектора пехоты Пятой армии, а в 1920 году отправили с добровольческой бригадой бывших партизан на Южный фронт, против Врангеля, — за тысячи вёрст от Алтая. Вернувшись, он жил под Барнаулом без всякой власти. Советская энциклопедия записала коротко: убит кулаками. Рублёв числит Мамонтова среди командиров, которых репрессировала советская власть (Рублёв, с. 254–255). Документов, которые решились бы спор, мы не знаем и приводим обе версии.

Судьба Мамонтова — не исключение, а правило. Приказ Реввоенсовета Пятой армии от 26 декабря 1919 года зачислил партизанские полки в регулярные войска и подчинил их ближайшим красным частям (т. 4 ИС, с. 775). Армии, которые сами выбирали командиров и созывали свои съезды, растворились в чужих дивизиях; партизанские Советы и штабы распустили, а на их место, как мы рассказывали в прошлом томе, пришли назначенцы (т. 4 серии, гл. 24). Командиров разводили в разные стороны. Александра Кра-

вченко, командовавшего партизанской армией Енисейской губернии, взяли в Наркомзем, а с 1922 года поставили заведовать губернским земельным отделом в Пятигорске; 21 ноября 1923 года он умер в Ростове-на-Дону — по одним данным, от туберкулёза, по другим, погиб от рук восставших крестьян. Его соратник Пётр Щетинкин уехал в Монголию инструктором. Василия Яковенко, руководителя Тасеевской партизанской республики, в декабре 1921 года избрали заместителем председателя Енисейского губисполкома, а через месяц назначили наркомом земледелия РСФСР и увезли в Москву (Метёлкина, с. 118). Рублёв называет среди репрессированных партизанских командиров, не только близких к анархистам, Кравченко, Лубкова, Мамонтова, Новосёлова, Рогова и Третьяка; многие сами отказались от постов (Рублёв, с. 254–255). Власть поступала с партизанскими вожаками одинаково: поднимала их вверх и вдаль или убирала совсем. Через десять лет районные чекисты будут писать о бывших тасеевских командирах, что их авторитет среди односельчан бесспорен и именно поэтому их надо выдвинуть на работу подальше от родного района (Метёлкина, с. 124).

Рядовые партизаны остались дома. Они вернулись в свои деревни крестьянами, но крестьянами особыми. Это была самая деятельная часть деревни: из них набирали сочувствующих и членов партии, на треть из них состояла сибирская милиция, из них выходили председатели сельсоветов и волисполкомов. Даже разойдясь по хозяйствам, они продолжали

чувствовать себя единым целым, спаянным общей войной и общим командиром, вышедшим из той же крестьянской среды (Метёлкина, с. 118–119). В 1920–1921 годах этим людям досталась власть на местах — и оружие, которое никто у них по-настоящему не отобрал.

Так возникло явление, которое в документах тех лет называли «красным бандитизмом». Сибирский историк ЧК Алексей Тепляков различает в нём три полосы. В 1920 году сводили счёты с бывшими колчаковцами — с карателями, милиционерами, доносчиками, а заодно и с теми, на кого падало подозрение. В 1921 году самочинные расправы шли вслед за подавлением Западно-Сибирского восстания: повстанцев расстреливали без суда, а нэп многие встретили как сдачу позиций и сами исправляли «мягкость» центра. В 1922 году на первое место вышли национальные окраины (Тепляков, 2000, по: Ефремов, Максимова, с. 107). Пик пришёлся на лето и осень 1921 года. В Енисейской губернии не осталось ни одного уезда без самочинных арестов и убийств — старых специалистов, особенно осуждённых, а потом амнистированных, зажиточных крестьян, а иногда и советских работников, которых считали недостаточно твёрдыми (Лушчаева, по: Ефремов, Максимова, с. 106). Полпредство ВЧК по Сибири 14 августа 1921 года докладывало, что расправы на местах творят в основном партийные работники и милиция: арестованных расстреливают «при попытке к бегству», а тех, кого ЧК отпустила, по возвращении в деревню, как

правило, убивают. Секретарь Сиббюро Варвара Яковлева назвала искоренение красного бандитизма первоочередной задачей. Но и те немногие, кто попадал под суд, обычно отделялись условными сроками и возвращались в свои сёла (Ефремов, Максимова, с. 106). Летом 1922 года на Алтае и в Семипалатинской губернии группа бывших партизан прямо объявила нэп сделкой с буржуазией и продолжала действовать на свой страх (т. 4 серии, 25.5).

У этого явления было два последствия, и оба оказались для деревни важнее любых оценок. Первое — затяжка войны. Человек, вышедший из тайги по амнистии, не знал, встретит ли его трибунал, сосед-активист или никто; поэтому из тайги выходили неохотно. В сводках Енисейской губчека за декабрь 1921 — январь 1922 года отмечено, что отряд Соловьёва, собиравшийся сдать, не сдаёт оружия из страха перед самосудом (Ефремов, Максимова, с. 107). Когда самочинные расправы прекратились, повстанцы, по наблюдению тех же историков, стали массово возвращаться к мирной жизни. Второе последствие — государственное. Сибревком и ЧК боролись с красным бандитизмом не потому, что отказывались от насилия: они сами расстреливали и брали заложников. Они боролись с насилием, которое совершалось без их приказа. Право на принуждение переходило от вооружённой деревни к государству, и бывший партизан, привыкший сам решать, кого казнить и кого миловать, становился для новой власти не опорой, а помехой.

Ту же логику видно на другом краю — там, где против советской власти воевали «белобандиты», как писали советские историки. В Горном Алтае до весны 1922 года держался отряд есаула Александра Кайгородова, пришедший из Монголии; его разбил сводный отряд Ивана Долгих, совершивший зимний поход через горы, и в начале 1923 года Горный Алтай перешёл к мирной жизни (т. 4 ИС, с. 281–282). В Хакасии против частей особого назначения воевал Иван Соловьёв. С февраля по ноябрь 1922 года его преследовал батальон ЧОН под командой восемнадцатилетнего Аркадия Голикова — будущего детского писателя Гайдара. Соловьёва Голиков не поймал, зато брал в улусах заложников и расстреливал по подозрению в связях с отрядом. Летом 1922 года на него завели дело в ГПУ, губернский командующий ЧОН велел не арестовывать его, а заменить и отозвать, и вскоре Голикова исключили из партии. Ещё в 1924 году сводки отмечали, что тяжёлое положение в Хакасском уезде вызвано в том числе действиями частей, ловивших Соловьёва (Ефремов, Максимова, с. 107). Сам Соловьёв был убит в 1924 году во время переговоров о сдаче. В Бурятии «теократическое» движение и «антиаймачники», отказывавшиеся платить налоги, были ликвидированы к январю 1924 года (т. 4 ИС, с. 282). Советские историки объясняли эти восстания интригами «нойонов, лам и кулаков». Донесения чекистов 1921 года объясняли их иначе: в Минусинском уезде отряды ВОХР и продотряды грабили и избивали хакасов, а потом объявляли

убитых «бандитами», и это гнало людей в повстанцы (Ефремов, Максимова, с. 106). О том, что стало с народами Сибири после этих лет, мы расскажем в главе 3.

Партизанская война, победившая сильного противника и закончившаяся тем, что вчерашние товарищи стреляли друг в друга, шла в те же годы и на другом краю Европы. В 1919–1921 годах Ирландская республиканская армия вела партизанскую войну против Британии. В декабре 1921 года договор с Лондоном дал Ирландии статус доминиона, и армия раскололась. 28 июня 1922 года войска Свободного государства начали обстрел дублинского здания Четырёх Судов, занятого противниками договора, — так началась гражданская война. В августе в засаде у Беал-на-Блах погиб Майкл Коллинз, один из главных командиров войны за независимость. Осенью парламент дал армии чрезвычайные полномочия, и правительство стало расстреливать пленных: 24 ноября казнили Эрскина Чайлдерса за хранение пистолета, а 8 декабря, в ответ на убийство депутата, без суда расстреляли четверых вожakov противников договора, среди них социалиста Лиамы Мелуза. Всего к маю 1923 года правительство казнило около восьмидесяти человек. Ирландская война кончилась тем же, чем сибирская: государство, рождённое партизанами, отобрало у них право на оружие и первым делом обратило это право против самых непримиримых из них.

В Сибири самыми непримиримыми были анархисты. Когда большинство партизан разошлось по домам, они ещё два

года держали в тайге чёрные знамёна.

1.3. Последние чёрные знамёна

6 марта 1922 года на таёжной дороге к осаждённому Якутску попал в засаду и погиб Нестор Каландаришвили. Четыре года назад его дивизион ходил под чёрным знаменем с надписью «Анархия — мать порядка» (Рублёв, с. 179); в январе 1921 года он вступил в РКП(б), и в Якутию его послала Пятая армия — выручать гарнизон, окружённый повстанцами. Той же зимой в горной тайге на границе Кузнецкого и Бийского уездов скрывался Иван Новосёлов, самый последовательный из сибирских анархистских командиров. В январе 1922 года при нём оставалось девять человек (Рублёв, с. 256). Два анархиста, начинавшие одну войну, к её концу оказались по разные стороны: один погиб на службе государства, другой прятался от него. Эти два пути — в аппарат или в тайгу — и были выбором, который советская власть оставила сибирским анархистам. Почему союз с большевиками вёл в тупик, мы разбирали в прошлом томе (т. 4 серии, 29.5); здесь нас интересует, чем он кончился.

Кончился он медленно. По подсчётам омского историка Анатолия Штырбула, на которые опирается Рублёв, в 1922 году на территории страны ещё действовали двадцать четыре партизанских отряда и подпольные группы анархистов, из них пять — в Южной Сибири. Самым маленьким был отряд братьев Мурзиных в Причерновском крае, где годом рань-

ше Новосёлов и Леонов поднимали шестнадцать волостей: в нём было четыре человека. В 1923 году в Южной Сибири оставалось два отряда. В Славгородском уезде Алтайской губернии чекисты раскрыли «подпольную организацию» Коваленко — до восьмидесяти человек (Рублёв, с. 293–294). Отряд анархиста Табачникова, в начале 1921 года насчитывавший сто пятьдесят бойцов на границе Томской и Алтайской губерний, части особого назначения разгромили ещё в октябре 1921-го (Рублёв, с. 257). Судьба самого Новосёлова неизвестна. По одной версии, в октябре 1923 года его видели в отряде Барышникова (Рублёв, с. 256); по другой, он ушёл в Монголию, а оттуда в Китай (Дамье, Лиманов).

Эти отряды жили так, как живёт любой лесной отряд без тыла: тем, что давала деревня, и тем, что брали сами. В сводках ЧОН и ГПУ все они значились «бандами», и по этим сводкам часто нельзя понять, где кончался анархистский отряд и начиналась обычная вооружённая шайка, — тем более что голодный 1922 год умножил по Сибири грабежи и убийства. Важнее другое. Двух лет хватило, чтобы деревня, которая в 1919–1920 годах шла за Роговым и Новосёловым тысячами, перестала их кормить. Нэп отменил разверстку, и у крестьянина появилось что терять; ЧОН и милиция стояли в каждой волости; за помощь «бандитам» отвечала вся деревня. Анархистский отряд, лишённый сельской опоры, из армии повстанцев превращался в горстку людей, которым некуда выйти. Так закончилось то, что Рублёв назвал самым

радикальным народным движением под анархистскими лозунгами в годы гражданской войны.

Там, где оружие уже не помогало, оставалось слово. В 1922–1923 годах анархисты вели антиналоговую агитацию в Иркутской, Тюменской и Приморской губерниях, работали среди комсомольцев в Омске и Иркутске (Рублёв, с. 294–296). Омская федерация анархистов ещё в 1920–1921 годах опиралась на профсоюз пищевиков; в апреле 1921 года, в разгар Западно-Сибирского восстания, десять её активистов арестовали за агитацию среди красноармейцев и курсантов (Рублёв, с. 247, 271). Антиналоговая агитация попадала в самую больную точку: продналог, который собирали методами разверстки, был главным, что деревня знала о новой власти (1.1). Но листовка без организации, способной защитить тех, кто её прочёл, оставалась листовкой.

На Дальнем Востоке конец пришёл вместе с концом ДВР. Через три месяца после её упразднения, с 26 февраля по апрель 1923 года, по Приморью и Амуру прошли массовые аресты анархистов, максималистов и левых эсеров — бывших партизан и членов подпольных рабочих организаций. Во Владивостоке взяли восемь максималистов и четырёх анархистов, в Благовещенске 10 апреля — ещё тридцать восемь человек. 19 июля 1923 года в Чите арестованных судили по делу о «белогвардейском заговоре»: восемь человек расстреляли, десять получили длительные сроки (Хит). Люди, которые три года воевали в тайге против японцев и бе-

лых, а в ДВР сомневались в «буфере», созданном Москвой, были уничтожены в первую же весну советской власти.

Сибирь стала для анархистов тем, чем была при царе, — местом ссылки. Только теперь ссылали не сибиряков на север, а анархистов со всей страны в Сибирь. В 1922 году на Алтай выслали Арона Барона, одного из руководителей украинской конфедерации «Набат», в 1925 году его отправили дальше, на Енисей. Моисея Цукермана после Соловков на три года сослали в Колпашево. Юрия и Александра Рейдманов в 1923 году отправили в Парабель — в тот самый Нарым, куда через семь лет повезут раскулаченных. Анархиста-портного Зильберга сослали в Тобольск, Павла Ускова в 1925 году — в станок Хантайка Туруханского края (Хит). Молли Штеймер и Сеня Флешин, арестованные в Петрограде в ноябре 1922 года, получили ссылку в Сибирь, но после голодовки их выслали за границу. Ссылные анархисты жили в Тасееве — бывшей столице партизанской республики — и в Барабинской степи (Рублёв, с. 312–313). При царе, с 1905 по 1917 год, через сибирскую ссылку прошли 583 анархиста из 10 539 политических ссыльных (Рублёв, с. 76); в 1928 году ОГПУ держало на учёте в Сибири 131 анархиста (Рублёв, с. 302). Ссылка, которая в прошлом томе была школой самоуправления (т. 4 серии, 2.1), снова стала ею — но учеников у неё теперь не было: ссыльного окружали не крестьяне, ищущие союзников против урядника, а осведомители.

Как организованная сила анархизм в Сибири к 1923 году

исчез. Как практика — сход, артель, выборный с поручением — он, как мы говорили в прошлом томе (т. 4 серии, 8.4), жил в деревне без всяких анархистов и переживёт их надолго. Чёрное знамя снова появится в Сибири открыто только в конце 1980-х, когда возникнет Конфедерация анархо-синдикалистов и одной из её заметных групп станет томская (гл. 27).

В те же недели анархистов убивали и на другом конце Азии — без отрядов и без тайги, в столице. 1 сентября 1923 года Великое землетрясение Канто разрушило Токио и Иокогаму. По городу поползли слухи, что корейцы поджигают дома и отравляют колодцы; дружины самообороны, полиция и солдаты убили тысячи корейцев, а в участке Камэидо — нескольких рабочих-активистов. 16 сентября жандармский капитан Масахико Амакасу увёл в штаб жандармерии самого известного японского анархиста Осуги Сакаэ, его подругу, феминистку Ито Ноэ, и шестилетнего племянника Осуги Тачибану Мунэкадзу. Всех троих задушили, тела бросили в колодец. Дело вскрылось, Амакасу судили военным судом и приговорили к десяти годам, но через три года освободили; потом он сделал карьеру в Маньчжоу-го. Японское государство, в отличие от советского, хотя бы судило своего убийцу. Но и там анархизм как движение после 1923 года уже не поднялся.

Анархисты были не единственными социалистами, которых советская власть убирала с дороги. Самой популярной

партией Сибири в 1917 году были не они, а эсеры, — и их судьбу в 1922 году решали не в сибирской тайге, а в Москве, в Колонном зале.

1.4. Суд над эсерами

20 июня 1922 года в Колонном зале Дома союзов, где второй неделю шёл процесс над партией социалистов-революционеров, устроили митинг. В зал суда привели рабочих делегаций, ораторы требовали расстрела для всех подсудимых. Иностранные социалисты, приехавшие защищать подсудимых, — бельгиец Эмиль Вандервельде, немцы Теодор Либкнехт и Курт Розенфельд, — поняли, что своим присутствием только придают этому зрелищу вид правосудия, и объявили, что уходят из процесса. Уехать им не разрешили; они объявили голодовку и покинули страну лишь через сутки. Русским защитникам, тоже оставившим зал, сам уход поставили в вину (Морозов). Так начинался первый большой показательный процесс советской власти — суд не над отдельными людьми, а над партией, которая пять лет назад получила на выборах в Учредительное собрание больше голосов, чем любая другая.

В Сибири эта партия была не одной из многих, а главной. На выборах в Учредительное собрание эсеры получили в Сибири около трёх четвертей голосов, большевики — около десятой части (Гузаров, разд. 10). Эсерами были большинство депутатов Сибирской областной думы, министры Временного Сибирского правительства, вожди Политцентра, свергнутого Колчака в Иркутске, многие кооператоры и земцы. Мы

писали в прошлом томе, что областники были социалистами-регионалистами, близкими к эсерам (т. 4 серии, 9.4); в 1917–1918 годах сибирская автономия и демократический социализм были в Сибири почти одной программой. Именно эту программу в 1922 году судили в Москве.

На скамье подсудимых сидели тридцать четыре человека, разделённые на две группы. В первой — двадцать два члена ЦК и активиста, не признавших за собой вины: Абрам Гоц, Дмитрий Донской, Михаил Лихач, Евгения Ратнер, Владимир Тимофеев и другие. Во второй — двенадцать «раскаявшихся», бывших боевиков Григория Семёнова и Лидии Коноплёвой, которые обвиняли бывших товарищей в терроре и вооружённой борьбе против советской власти; их защищал Бухарин. Обвинение строилось на событиях 1918 года — Комуче, восстаниях, покушениях, — и на том, что партия не прекратила борьбы и после. К московскому процессу приобщили и сибирское дело: Флора Федоровича, бывшего председателя Политцентра, члена ЦК Льва Герштейна и других сибирских эсеров, арестованных в 1921 году по обвинению в подготовке восстания. Федоровичу на допросах говорили, что его расстреляют; Герштейн и Федорович заявили суду, что приписанная им программа подложна (Морозов).

7 августа 1922 года суд приговорил двенадцать подсудимых к расстрелу. На следующий день ВЦИК приостановил исполнение приговора с условием: если партия эсеров продолжит вооружённую борьбу, заговоры или террор, осуждён-

ные будут расстреляны. Двенадцать человек стали заложниками за свою партию. Раскаявшихся из второй группы помиловали сразу. В 1924 году расстрел заменили пятью годами заключения, но на свободу осуждённые по-настоящему уже не вышли: тюрьмы и политизоляторы сменялись ссылками, а в 1937–1941 годах большинство из них погибли. Федорович, получивший по этому процессу десять лет, умер в оренбургской тюрьме в ноябре 1928 года (т. 4 серии, 23.5).

В самой Сибири к лету 1922 года судить уже почти некого было. Сибирский краевой комитет партии эсеров ещё в сентябре 1921 года рассылал по губерниям решения партийного совета, но после осеннего разгрома перебрался на территорию ДВР. К концу 1921 — началу 1922 года большинство губернских и городских эсеровских комитетов Сибири было разгромлено, а их руководители сидели в тюрьмах. Новосибирский историк Анатолий Добровольский, исследовавший эту историю по архивам Сиббюро, называет московский процесс решающим ударом по остаткам партии. Весной 1922 года при учреждениях появились «бюро содействия ГПУ», которые брали на учёт эсеров и меньшевиков в кооперации, профсоюзах и советских конторах; осведомительные письма Сиббюро того года рассказывают, как бывших и действующих эсеров выводили из правлений кооперативов и госпредприятий. Во второй половине 1923 года по всей стране прошли съезды бывших рядовых эсеров, массовые отречения и самороспуск организаций; к 1924 году эсеров в Сибири как

партии не осталось (Добровольский). Евгений Колосов, историк сибирских эсеров и делегат Политцентра на переговорах с большевиками, в эти годы жил в Петрограде, водил экскурсии по Шлиссельбургу и Петропавловской крепости и в 1923 году выпустил книгу «Сибирь при Колчаке». 4 мая 1925 года его арестовали по обвинению в подпольной эсеровской работе и отправили на три года в Верхнеуральский политизолятор; дальше были Ташкент, Суздаль и Тобольск (Загороднюк). О том, чем это кончилось, мы расскажем в главе 14.

Меньшевиков убрали ещё раньше и тише: массовые аресты весной 1921 года, высылка части лидеров за границу в начале 1922-го, ссылки в Нарым и Туруханск. Сибирских меньшевиков было немного, но и они разделили общую судьбу. К середине 1920-х годов в стране не осталось ни одной легальной социалистической партии, кроме правящей.

Здесь важно сказать то, что легко потерять за подробностями. В прошлом томе мы объясняли поражения Сибири в 1918, 1919 и 1921 годах причинами экономическими и социальными: колония без заводов, тонкий слой местной интеллигенции, зависимость от чужих штыков (т. 4 серии, гл. 30). Эти причины действовали внутри Сибири. Но то, что после 1922 года в Сибири невозможно было даже легально выступить за демократический социализм — за выборную областную думу, за кооперацию без государственных правлений, за Советы с несколькими партиями, — решили не сибирская

экономика и не сибирская деревня. Это решили в Москве, в Колонном зале и на заседаниях Политбюро. Путь областников был закрыт не потому, что сибиряки его отвергли: на последних свободных выборах они проголосовали именно за него. Он был закрыт извне, решением центра, который не оставил ни одной легальной двери для тех, кто думал иначе.

Партии судили как партии не только в Москве. 10 ноября 1924 года в Таллине начался «процесс 149-ти»: эстонская республика судила сразу почти полторы сотни коммунистов и профсоюзных активистов по обвинению в подготовке переворота. Одного из них, рабочего вожака Яана Томпа, который бросил в лицо суду, что не признаёт его, отдельно приговорили военно-полевым судом и расстреляли 14 ноября, на следующий день. Остальных приговорили к долгим срокам каторги, многих пожизненно. Через две недели, 1 декабря, коммунисты в самом деле попытались захватить Таллин, и после неудачи восстания в стране было введено военное положение. Буржуазная республика расправлялась с коммунистами так же, как коммунистическая власть с эсерами, — только эстонские подсудимые и в самом деле готовили восстание, а эсеровский ЦК в 1922 году давно уже не воевал. Одна мерка для всех: суд над партией за то, что она партия, остаётся расправой, кто бы его ни устраивал.

Когда последних эсеров и меньшевиков вывели из правлений и комитетов, власть объявила, что теперь можно «оживить» Советы. С этого оживления, с создания Сибирского

края и с колонии американских рабочих в Кузбассе начинается следующий параграф.

1.5. Сибирский край и американские товарищи

3 декабря 1925 года в Новониколаевске, во Дворце Советов имени Ленина, открылся Первый Сибирский краевой съезд Советов. Сибревком отчитался и сложил полномочия. В резолюции по его докладу съезд записал, что Сибревком построил снизу доверху «нормальную цепь органов Советской власти» и вручил её «высшему хозяину края — съезду Советов». Председателем нового Сибирского краевого исполкома избрали Роберта Эйхе, латышского рабочего-слесаря и большевика с 1905 года; он останется на этом посту, пока существует край, до 1930 года. Тот же съезд переименовал Новониколаевск в Новосибирск (т. 4 ИС, с. 215). Вместо пяти губерний и тридцати восьми уездов край поделили на шестнадцать округов и одну автономную область (т. 4 ИС, с. 214). Чрезвычайный орган, о котором мы рассказывали в 1.1, уступил место обычному — с выборами, съездом и исполкомом. Посмотрим, насколько обычным оно было.

Перемены начались с партии. 3 октября 1923 года Политбюро решило заменить назначаемое Сиббюро выборным краевым комитетом, и 11 мая 1924 года Сибирская партийная конференция впервые его избрала; секретарём стал Станислав Косиор. Но выборы эти были особого рода. Пленум крайкома переизбирали на конференциях по заранее состав-

ленным спискам; в него входили партийные работники, рекомендованные ЦК, руководители общесибирских ведомств и секретари губкомов. Бюро формально избирал пленум, но его членов заранее рекомендовал ЦК, а сам пленум, как пишут современные исследователи, в основном узаконивал решения узкой группы членов бюро (статья «Сибирский краевой комитет ВКП(б)», БРЭ). Косиор в январе 1926 года уехал на Украину; в феврале 1926-го первым секретарём стал Сергей Сырцов, до того заведовавший отделом в аппарате ЦК в Москве. В мае 1929 года его забрали в Москву председателем Совнаркома РСФСР, а на его место пришёл Эйхе. Выборный крайком отличался от назначенного Сиббюро процедурой, но не тем, откуда приходили и куда уходили его руководители.

Потом настала очередь Советов. Осенью 1924 года в Сибири на выборы в сельсоветы пришло меньше трети избирателей, а женщин — меньше десятой части. В те же месяцы, в августе 1924 года, в Грузии вспыхнуло крестьянское восстание, и партия заговорила о том, что нужно «повернуться лицом к деревне». ВЦИК назначил перевыборы везде, где голосовало меньше 35% избирателей. В феврале — марте 1925 года выборы в Сибирском крае прошли заново, и теперь к ним готовились иначе: на собраниях сельсоветы отчитывались, избиратели критиковали их работу, давали наказы новым депутатам и отводили кандидатов, которым не доверяли. Явка выросла до 50,2%, женщин — с 9,2 до 25,1%. Сиб-

крайком телеграфировал в ЦК, что в новых сельсоветах середняков 73%, бедняков 20%, кулаков лишь 3%, и беспартийных стало заметно больше (т. 4 ИС, с. 213–214).

Сельская Сибирь действительно оживилась: впервые с 1919 года люди на сходе могли сказать председателю, что о нём думают, и иногда даже заменить его. Но проверим и эти Советы четырьмя вопросами (0.3). Кто давал им полномочия? Избиратели — но из избирателей заранее вычеркнули тех, кого партия считала чужими, а единственной разрешённой партией была правящая. На какой срок и для какой задачи? На год, для сбора налогов, учёта и исполнения распоряжений сверху. Кто контролировал их работу? Райком и окружком, а не собрание: даже собственного бюджета у сельсоветов почти не было — по всему краю в 1926/27 году он был у 245 сельсоветов, к 1928/29 году у 1464 (т. 4 ИС, с. 241). Кто мог их отозвать? Формально — избиратели; на деле — тот, кто назначал выборы, проверял списки и утверждал председателей. Сибирские Советы 1925 года были живее Советов 1922-го, но оставались Советами без власти: решения принимались в партийных комитетах, а Совет их исполнял.

Тех, кому голосовать не полагалось, называли лишенцами. Конституция 1918 года перечисляла семь категорий людей, лишённых избирательных прав: нанимавших работников ради прибыли, живших на нетрудовой доход, торговцев и посредников, служителей культа, бывших полицейских и

жандармов, а также душевнобольных и осуждённых. Лишение голоса скоро потянуло за собой остальное: лишenci платили повышенные налоги, их дети с трудом попадали в школы второй ступени и вузы, их последними обеспечивали жильём и работой. Список составляла местная избирательная комиссия, и от её воли зависело многое; восстановить права можно было по ходатайству, но удавалось это немногим — в деревне хуже, чем в городе (Москаленская). В 1925 году лишенцев в Сибири было ещё сравнительно немного. К перевыборам 1929 года их стало около 166 тысяч, или 4,3% всех избирателей края (т. 4 ИС, с. 241). Эти списки и станут готовой картотекой для раскулачивания (гл. 6–8).

В те же годы, когда сибирские Советы учились отчитываться перед избирателями, в Кузбассе шёл опыт куда более смелый. На окраине Щегловска, будущего Кемерово, работала Автономная индустриальная колония «Кузбасс» — сотни иностранных рабочих, приехавших строить социализм своими руками. Задумали её голландский инженер-гидротехник Себальд Рутгерс, левый социал-демократ, ставший коммунистом, и американцы: основатель «Индустриальных рабочих мира» Билл Хейвуд, бежавший в Советскую Россию от тюремного срока, и Герберт Калверт, участник социалистической колонии Льяно-дель-Рио в Калифорнии. 22 июня 1921 года Совет труда и обороны признал желательным, чтобы американские рабочие группы сами управляли переданными им предприятиями. Ленин поддерживал проект, хотя

и сомневался в нём: в письмах он называл расходы большими, а руководителей — людьми рискованными. В конце 1921 года СТО подписал с американской группой договор (Штырбул).

Условия были суровыми. Колония получила Кемеровский рудник, недостроенный коксохимический завод и десять тысяч гектаров земли под ферму; она обязалась восстановить предприятия, купить оборудование за границей и обходиться без денег из советского бюджета — хотя на первые нужды государство всё же выделило шестьсот тысяч рублей золотом. Каждый колонист вносил триста долларов на дорогу и закупки, обязывался проработать не меньше двух лет и, приехав, подписывал бумагу, что знает о предстоящих лишениях. Ехали с запасом продуктов на несколько месяцев, некоторые семьи везли с собой цветы в горшках и домашних животных. С января 1922 по декабрь 1923 года в колонию прибыли 566 иностранцев, а всего за годы её существования — около 750 рабочих и специалистов примерно тридцати национальностей: американцы, финны, немцы, югославы, голландцы. Рядом с ними работали около пяти тысяч русских шахтёров (Штырбул; Баринава).

Первые месяцы жили коммуной: еду, лекарства и вещи делили поровну, за работу не платили. Финны построили большой деревянный дом-коммуну на двести пятьдесят жильцов. Но очень скоро в колонии столкнулись два понимания рабочего социализма. Члены IWW, которых среди ко-

лонистов было около двухсот пятидесяти, стояли за «промышленную демократию»: решения принимает собрание рабочих, единоначалия нет, заработок уравнительный, а шельщина — враг. В 1921–1922 годах колонией по поручению СТО руководил Владимир Шатов, анархо-синдикалист, знакомый читателю по прошлому тому (т. 4 серии, гл. 21). Рутгерс и ячейка американских большевиков, в которой было семьдесят три человека, считали иначе. В письме Ленину в октябре 1922 года Рутгерс предупреждал, что вера в способность массовых собраний и комиссий управлять производством опасна, и требовал прежде всего учить и удерживать квалифицированных рабочих. СТО и Рабкрин ввели шельщину; уобблиз сопротивлялись. Спорили и о профсоюзах: колонисты хотели своих, большевики — вступления в советские; сошлись на том, что члены IWW какое-то время участвуют в профсоюзной работе, не вступая в союзы. В Профинтерне всерьёз опасались, что Кузбасс станет оплотом анархо-синдикализма. Омский историк Анатолий Штырбул, лучше всех изучивший колонию, называет этот спор нормальной борьбой идей, которая не мешала совместной работе, — но борьбой неравной, потому что за коммунистами стоял государственный аппарат (Штырбул). К середине 1920-х годов колонией управлял Рутгерс, а первоначальные коммунные порядки сменились заработной платой с семнадцатью разрядами.

При этом колония работала, и работала хорошо. Добыча

на Кемеровском руднике выросла с девяти тысяч тонн в феврале до двенадцати тысяч тонн в августе 1923 года; комиссия СТО признала, что производительность труда здесь выше, чем на шахтах государственного треста «Кузбасстрест». 2 марта 1924 года колонисты пустили Кемеровский коксохимический завод — тот самый, вокруг которого потом вырос город Кемерово. В 1924 году колонии передали Кольчугинский, Прокопьевский и Киселёвский рудники. Колонисты завели механизированную ферму, построили первую в городе электростанцию, дававшую свет не только шахте, но и жилым домам, открыли библиотеку, театральный кружок и кинематограф. Голландский архитектор Йоханнес ван Логем построил на Красной Горке кирпичные дома с водопроводом и уборными — первые в Сибири дома в духе западного функционализма; часть их стоит до сих пор. Библиотекарь из Нью-Йорка Рут Кеннел вела дневник колонии, по которому сегодня восстанавливают её быт (Штырбул; Баринова).

Конец пришёл не из-за неудачи, а из-за успеха государственного плана. 22 декабря 1926 года СТО расторг договор с колонией, и её предприятия перешли в общий государственный трест. Особый статус — автономия, иностранные рабочие с собственными собраниями, право решать хоть что-то самим — не вписывался в хозяйство, которое готовилось к пятилетке. Колонисты начали разъезжаться; к 1931 году в Кузбассе их оставалось двадцать пять. Хейвуд умер в Москве в 1928 году, часть его праха похоронили у Крем-

лёвской стены. Шатова арестовали в 1937 году, он погиб в заключении. Рутгерс уехал домой и до конца жизни говорил, что эксперимент удался. О вкладе колонии в индустриализацию Кузбасса мы ещё вспомним в главе 12.

Для нашей книги история колонии важна не экзотикой. Иностранные рабочие несколько лет могли делать то, чего не могли сибиряки: выбирать, спорить на собраниях, держаться своих организаций, не вступая в государственные. Им это позволяли, потому что они были иностранцами, привозили доллары и технику, и потому что Москве нужен был кокс. Русским шахтёрам, работавшим рядом, никто такой автономии не предлагал. Кемеровская колония показала, что рабочее самоуправление в Сибири возможно и производительно; её ликвидация показала, кто решал, где ему быть позволено.

Регион, получивший самоуправление и потерявший его по воле центра, был в те же годы и на другом конце Европы. С 1914 года четыре каталонские провинции объединялись в Мансомунитат — выборный союз провинциальных депутатов, который строил дороги и телефонные линии, открывал школы, библиотеки и техникумы и вёл дела по-каталонски. 13 сентября 1923 года генерал Мигель Примо де Ривера, капитан-генерал Каталонии, совершил в Барселоне военный переворот. В январе 1924 года выборное руководство Мансомунитата сменили назначенцами, а 20 марта 1925 года Провинциальный статут упразднил его совсем; каталанский язык вытеснили из учреждений и школ. В Испании регион

лишили самоуправления, которое у него было. В Сибири в те же месяцы создавали край, у которого самоуправления не было с 1918 года, и называли это наделением полномочиями «высшего хозяина края».

Хозяином края на деле был тот, кто распоряжался сибирским хлебом. Именно ради хлеба власть и «повернулась лицом к деревне», и именно хлеб, масло и кооперация определяли, как жила Сибирь при нэпе. Об этом — следующая глава.



Глава 2. Нэп в сибирской деревне

2.1. Обмен «по усечённой формуле»

4 июня 1921 года Сибревком запретил провозить по железной дороге больше двух пудов хлеба на человека. Через две недели, 18 июня, он закрыл въезд в хлебные уезды четырёх губерний; на станциях встали заградительные отряды (Ильиных, с. 31). Шёл третий месяц новой экономической политики. В марте X съезд партии заменил разверстку продналогом, и по всей стране крестьянину разрешили продавать то, что останется после налога. В Сибири это разрешение с самого начала выглядело иначе. Сибревком 30 марта позволил свободный обмен только в тех уездах, которые выполнили разверстку хотя бы на три четверти; межрайонную торговлю отдали потребительской кооперации, а губернским продкомитетам разрешили закрывать «свободный оборот», когда они сочтут нужным (Ильиных, с. 28). Нэп пришёл в Сибирь с заградотрядами на станциях.

Большевики не любили торговлю и надеялись обойтись без неё. Власть, как пишет новосибирский историк Владимир Ильиных, пыталась наладить обмен «по усечённой формуле: Т–Т» — товар на товар, без денег и без рынка, в расчёте, что такой обмен поведёт прямо к коммунизму (Ильиных,

с. 28–31). На деле вышло так. Промышленные товары оценивали втрое дороже довоенного, и чтобы сменить хлеб на ситец, крестьянину приходилось обойти четыре конторы. К 1 сентября 1921 года Сибцентросоюз собрал по товарообмену 222 тысячи пудов — 1,9% задания. Рынок тем временем восстановил себя сам: мешочники вывезли из Сибири сотни тысяч пудов, частные скупщики, обходя станционные заставы, водили обозы по двадцать — тридцать подвод. К ноябрю частники вывезли три с половиной — четыре миллиона пудов, кооперация — меньше одного. Комячейки и волисполкомы ещё и летом продолжали реквизировать хлеб, как при разверстке, так что в июле Сиббюро пришлось требовать это прекратить (Ильиных, с. 30–33). Денежный обмен разрешили только 9 августа.

Продналог, который сменил разверстку, в Сибири оказался тяжелее её. По размеру он составлял 58% от фактически собранной разверстки, но посевы за год упали на 21%, а сбор — на 27%. В пересчёте на десятину нагрузка выросла с 11 до 12 «ржаных единиц». В Сибири государство забирало в налог около пятой части валового сбора, на Алтае — 30%, тогда как в среднем по стране — 12–15% (Ильиных, с. 34). Советские авторы «Истории Сибири» эти цифры не скрывали и объясняли их голодом в Поволжье: Дзержинский в начале 1922 года писал из Сибири, что сибирский хлеб и семена — спасение и опора республики (т. 4 ИС, с. 178). Голод в Поволжье был настоящим, и сибирский хлеб действи-

тельно спасал людей. Но платила за это сибирская деревня, которая сама только что вышла из разверстки 1920–1921 годов в 110 миллионов пудов и из подавленного восстания (т. 4 серии, 24.3, гл. 25). Зимой 1921/22 года обмен закрыли в Славгородском, Каменском и Калачинском уездах, продорганы конфисковывали хлеб даже у кооперации. Алтайскую и Омскую губернии «забронировали» за кооперацией: частнику туда въезд был закрыт, рынки разрешили закрывать, пути охраняли заградотряды (Ильиных, с. 34–35). Только с 15 февраля 1922 года Сибирь «разбронировали», а в мае легализовали частный капитал (Ильиных, с. 35–36).

Следствия сказались быстро. В 1922 году посевы в Сибири сократились ещё на четверть, сбор — на 15% (Ильиных, с. 40). Посевная площадь края составила около половины довоенной, маслоделие было разрушено: заготовки масла сократились больше чем в тринадцать раз (т. 4 ИС, с. 177). Крестьянин, у которого государство забирало почти всё сверх пропитания, сеял столько, сколько нужно было семье, и не больше. Это не было ни саботажем, ни «кулацкой» хитростью: так ведёт себя любое хозяйство, которому не оставляют выгоды от лишнего труда.

Осенью 1922 года, едва урожай позволил, власть начала возвращать монополию. В конце августа в Новониколаевске создали хлебную «пятёрку» из Сибревкома, Госбанка, Сибцентросоюза, «Сибхлебопродукта» и Сиббюро ВСНХ; циркуляр 5 сентября обязал продавать хлеб только «Сиб-

хлебопродукту» и кооперации, ввёл регистрацию скупщиков и лимиты цен. Частных торговцев арестовывали, пишет Ильиных, порой даже в нарушение закона; самостоятельные закупки сибирской конторы Госбанка запретили (Ильиных, с. 38–39). Председатель Сибревкома Лашевич докладывал, что частной оптовой хлебной торговли в Сибири почти нет (Ильиных, с. 42). Ильиных видит здесь черту, которая пройдёт через все 1920-е годы: центр пытался действовать экономически, а Сибирь — административно (Ильиных, с. 38). Свободный рынок сибиряки получили позже, чем остальная страна, и меньше — и потеряли раньше.

Новые государства, выросшие из гражданской войны, по-разному мирились с крестьянством. В Финляндии, где в 1918 году белые разгромили красных и прошли через лагерь десятки тысяч человек, в 1922 году парламент принял закон, названный по имени его автора, аграрника Кюёсти Каллио, — «Лекс Каллио». Государство и общины обязались помогать безземельным получать землю для хозяйства и жилья; за следующие полтора десятилетия десятки тысяч семей торпарей и безземельных стали собственниками. Финская республика покупала мир в деревне землёй. Советская власть в Сибири в те же месяцы получала с деревни хлеб и закрывала ей рынок. Через семь лет, в начале коллективизации, выяснится, какой из двух способов оказался прочнее.

Но в 1923 году сибирская деревня ещё не знала, что её ждёт. Налог стал легче, хлеб уродился, и начались несколь-

ко лет, которые потом вспоминали как лучшие за всю советскую эпоху.

2.2. Деревня между налогом и рынком

В 1923/24 году в Сибири, как и по всей стране, вместо множества налогов и сборов ввели единый сельскохозяйственный налог. Часть его ещё можно было внести хлебом, но с 1924/25 года — только деньгами. Пятую часть крестьянских дворов, в основном бедняцких, от налога освободили совсем. По бюджетным обследованиям 1924–1925 годов бедняцкий двор платил в среднем 5,5 рубля налога, середняцкий — 32,5, «кулацкий» — 92,8 рубля. В 1923 году единый налог по Сибири был втрое меньше разверстки 1920 года и в полтора раза меньше продналога 1922-го. 30 ноября 1925 года Совнарком списал сибирским крестьянам полмиллиона пудов семенной ссуды и 300 тысяч рублей недоимок (т. 4 ИС, с. 183–184). Впервые с 1914 года сибирский крестьянин мог посчитать, сколько он отдаст государству, до того как посеет.

Деревня ответила так, как отвечает всегда, когда её оставляют в покое. Сибирское общество сельскохозяйственного кредита, открытое в 1923 году в Новониколаевске, за 1924–1926 годы выдало одних долгосрочных ссуд больше чем на 12,5 миллиона рублей — больше половины беднякам. За 1923–1925 годы крестьяне купили сельскохозяйственных машин на 24 миллиона рублей, а в 1926 году продали больше машин, чем перед мировой войной. В 1925 году в Сибирь

завезли 183 трактора — больше, чем за все предыдущие восемь лет (т. 4 ИС, с. 181–182). Землеустройство к 1926 году охватило 25,4 миллиона десятин — около половины крестьянских земель (т. 4 ИС, с. 181). К 1926 году посевные площади Сибирского края превысили уровень 1913 года примерно на 12%, поголовье скота — уровень 1916 года на 14%, а валовая продукция сельского хозяйства превзошла довоенную примерно на пятую часть (т. 4 ИС, с. 189). Валовой сбор зерна в Сибири вырос со 153 миллионов пудов в 1922 году до 398 миллионов в 1926-м и 457 миллионов в 1928-м (Ильиных, с. 334–335).

Скажем прямо то, что неудобно и для советского учебника, и для его нынешних «чёрных» переписчиков: сибирская деревня при нэпе богатела. Не все и не одинаково, но богатела. Именно поэтому её потом и ограбили: в 1928 году было что брать. Мы ещё увидим, как этот достаток превратится в улику (гл. 5–6).

Была и другая сторона. В 1923 году ударили «ножницы цен»: к октябрю сельскохозяйственные продукты стоили в Сибири 58% довоенного, а промышленные товары — 162% (Ильиных, с. 44). За пуд масла в 1923 году давали восемь — десять пудов хлеба, а в 1914-м — двадцать восемь (Николаев, 2016). Крестьянин богател в натуре — хлебом, скотом, новыми постройками, — но за деньги на рынке купить мог немного: город не давал ему ни ситца, ни железа, ни гвоздей. Эта нехватка товаров, «товарный голод», через несколь-

ко лет станет одной из главных причин того, что деревня перестанет продавать хлеб (гл. 5).

Кто жил в этой деревне? Советская статистика делила крестьян на бедняков, середняков и кулаков, и мы будем пользоваться этими словами, помня, что «кулак» был не столько хозяйственной, сколько политической категорией: термином власти, которым она обозначала того, кого собиралась обложить, лишить голоса или выселить. Обычно мы будем писать о зажиточных. Сибирские хозяйства в среднем были крупнее и товарнее, чем в европейской России, и зажиточный двор с наёмным работником встречался чаще. Но сибирскую деревню разделяло не столько богатство, сколько время прихода. Старожилы, жившие здесь поколениями, владели лучшими землями. Новосёлы столыпинских лет, а потом беженцы и переселенцы 1920-х, жили на худших участках, арендовали землю у старожилов, работали на них. К 1927 году в Сибири насчитывалось около 275 тысяч «неприписанных» — людей, которые жили в сёлах, но не были приняты в общество и не имели надела (Ильиных, с. 240–242). Этот раскол прошёл через гражданскую войну: старожилы чаще поднимались против Москвы, новосёлы чаще шли в партизаны (т. 4 серии, 13.3, 20.1, 25.1). В конце 1920-х он облегчит власти раскол деревни: Ильиных считает, что именно разобщённость переселенческих групп, а не агрессивность бедноты помогла провести коллективизацию (Ильиных, с. 12–13).

Главным органом деревни по-прежнему оставался сход. Земельный кодекс 1922 года сохранил общину как форму землепользования; сход распределял покосы и пашню, нанимал пастуха, решал, кому помочь и кого принять в общество. Рядом со сходом действовали крестьянские комитеты общественной взаимопомощи — кресткомы. Их избирали на общих собраниях, они создавали фонды из самообложения и общественной запашки, давали ссуды беднякам, семьям красноармейцев и вдовам, засеивали поля тех, у кого не было работников, держали прокатные пункты, мельницы и мастерские. В 1925 году в Сибири было больше пяти тысяч кресткомов (т. 4 ИС, с. 182). Это была настоящая самоорганизация — та самая взаимопомощь, о которой писал Кропоткин, — и власть охотно её поощряла, пока она снимала с государства заботу о бедноте. Но выборы кресткомов проходили под надзором сельсовета и ячейки, их фонды скоро стали учитывать вместе с бюджетом, а в 1928–1929 годах собрания тех же кресткомов и бедноты станут инструментом заготовок и бойкота (гл. 6).

В феврале 1925 года, когда сибирские сельсоветы проходили перевыборы (1.5), на другом краю Азии отменили налог, который крестьяне платили больше тысячи лет. 17 февраля Великое национальное собрание Турции упразднило ашар — натуральную десятину с урожая, которую собирали ещё при султанах и сдавали на откуп сборщикам. Реформа должна была привязать крестьян к новой республике. Но в

те же дни на востоке страны вспыхнуло курдское восстание шейха Саида, и 4 марта парламент принял закон о поддержании порядка, по которому правительство Мустафы Кемалля на четыре года получило право закрывать газеты и партии. Облегчение для деревни и диктатура для всех пришли в Турции одновременно — так же, как в Сибири снижение налога и «оживление» Советов шли рука об руку с однопартийной властью.

Самым ценным, что производила сибирская деревня, был, однако, не хлеб. Это было масло.

2.3. Масло для Лондона

Летом 1926 года профессор Сатерленд Томпсон, приглашённый Маслоцентром, писал в отчёте о сибирском масле, которое пришло в Лондон с плесенью. Причину он видел в антисанитарии на сибирских маслозаводах (Николаев, 2013). Для тех, кто помнил довоенную Сибирь, это был удар. Накануне мировой войны сибирское масло было главным товаром края и одним из главных экспортных товаров империи; его везли на специальных поездах-ледниках к балтийским портам и продавали в Лондоне и Копенгагене. Делали его кооперативные артели, объединённые в Союз сибирских маслодельных артелей, — тот самый пример «социализма снизу без государства», о котором мы писали в прошлом томе (т. 4 серии, 6.5).

Война и разверстка разрушили отрасль. Заготовки масла в Сибири упали с 1781 тысячи пудов в 1918 году до 422 тысяч в 1920-м, вывоз в 1922 году был в восемь с лишним раз меньше, чем в 1915-м. Около четырёх тысяч кооперативных и частных маслозаводов 1913 года к 1924 году сократились до 2772 (Николаев, 2016). Ещё в 1920 году молочную кооперацию слили с системой Центросоюза, разрушив её собственное управление; в 1922–1923 годах маслозаводы отобрали у потребительских обществ и передали сельскохозяйственной кооперации (Николаев, 2016). Каждая из этих пе-

рестановок решалась сверху, без тех, кто сдавал молоко.

С 1923 года масло снова пошло в Лондон (т. 4 ИС, с. 785). В 1924 году для руководства молочной кооперацией создали Маслоцентр, а в октябре того же года начал работу Сибирский маслодельный союз — Сибмаслосоюз, юридически оформленный в январе 1925-го. Его доля в заготовках масла выросла с 50,4% в 1924/25 году до 75,3% в 1928/29-м (Николаев, 2016). К концу 1928 года молочная кооперация охватывала 72% крестьянских хозяйств Западной Сибири, а сибирские кооперативы составляли около половины всего Маслоцентра (т. 4 ИС, с. 231). В 1927 году сибирская маслодельная кооперация давала половину всего масла, производимого в СССР (т. 4 ИС, с. 785). Строили новые заводы, открывали курсы маслоделов, в Омске готовили инструкторов, устраивали конкурсы качества.

Но цифры, которыми гордились советские отчёты, скрывали главное. Даже в лучший год, 1926/27, производство масла достигло лишь 84,7% довоенного. Доля масла в стоимости сельскохозяйственного вывоза Сибири упала с 64,4% в 1913 году до 41,6% в 1928-м (Николаев, 2016). Весенняя проверка 1927 года осмотрела 2180 маслозаводов и признала, что половину из них надо сносить: каменные здания были у полупроцента заводов, паровые или водяные двигатели — меньше чем у десятой части, исправных сепараторов в среднем по полтора на завод; потери от плесени выросли с 4,8% продукции в 1926 году до 11,2% в июле 1927-го (Николаев,

2013).

Причина была не в том, что сибиряки разучились делать масло. Причина была в ценах. К 1928 году по сравнению с 1913-м пшеница подорожала в 1,6 раза, мясо — в 2,1 раза, а молоко — меньше чем в 1,4 раза. Сдавать государству мясо стало выгоднее, чем сдавать молоко (Николаев, 2016). Государство, которое держало монополию на внешнюю торговлю, получало за сибирское масло валюту в Лондоне и платило за неё крестьянину по своим ценам. Разница шла на закупку оборудования для заводов, которые строились не в Сибири. Это и была сибирская рента нашего второго вопроса (0.2), только собирали её теперь не купцы и не датские фирмы, а Наркомторг.

В 1925–1928 годах на государственные кредиты построили 1304 маслозавода, из них 714 механических. Кредиты перерасходовали вдвое: к 1 июля 1928 года перерасход достиг 213% плана. Многие новые заводы встали там, где не хватало молока, многие остались недостроенными, а долги легли на пайщиков — им снизили плату за сданное молоко (Николаев, 2013, 2016). В октябре 1927 года Совнарком дал государственным инспекторам право штрафовать маслозаводы и закрывать их, на заводах ввели государственную браковку (Николаев, 2013). Кооперация всё меньше принадлежала артельщикам и всё больше — ведомствам, которые ею распоряжались. В декабре 1929 года Сибмаслосоюз распустили и слили с новым «молочно-животноводческим» союзом, в на-

чале 1930 года ликвидировали маслодельные артели и передали переработку колхозам и совхозам. По стране заготовки масла за 1930 год упали с 4,7 до 2,5 миллиона пудов: в коллективизацию крестьяне резали молочный скот (Николаев, 2016). Кооперативное маслоделие Сибири, полвека кормившее край, закончилось за один год. Об этом — в главах 6–8.

На другом конце Британской империи в те же годы фермерские кооперативы и государство спорили, кто будет продавать масло в Лондоне, — но спорили иначе. В 1923 году парламент Новой Зеландии принял закон о контроле над экспортом молочных продуктов и создал Совет по контролю, в котором большинство мест принадлежало выборным представителям фермеров-производителей. В 1926 году Совет попытался взять в свои руки всю продажу новозеландского масла в Лондоне и назначать цены. Лондонские оптовики ответили кампанией против Совета, часть фермеров его поддержала, часть выступила против, и через год от полного контроля пришлось отказаться. Новозеландские фермеры могли проиграть спор, но они в нём участвовали: Совет избирали они, и они же могли его переизбрать. Сибирские артельщики не выбирали ни Маслоцентра, ни Наркомторга.

Масло было лишь одной отраслью. Вся сибирская кооперация в 1920-е годы прошла тот же путь — от союза, который создают снизу, к конторе, которой распоряжаются сверху.

2.4. Кооперация: от союза к конторе

В июле 1922 года в Новониколаевске собрался общесибирский организационный съезд сельскохозяйственной кооперации. Советские историки описали его откровенно: съезду «предшествовала острая борьба» со старыми кооператорами, меньшевиками и эсерами, которые хотели «захватить» руководство кооперацией; в совет нового Сибсельско-союза избрали восемь коммунистов и семь беспартийных, и съезд, по словам «Истории Сибири», «покончил с эсеро-меньшевистским влиянием» (т. 4 ИС, с. 785). «Захватить» кооперацию хотели те, кто её создавал. Сибирская кооперация до революции была делом эсеров, народных социалистов и беспартийных кооператоров; её союзы торговали с Лондоном и Нью-Йорком, держали собственные банки и школы. Весной 1922 года при учреждениях появились «бюро содействия ГПУ», которые брали на учёт эсеров и меньшевиков в правлениях кооперативов, и их выводили оттуда одного за другим (1.4). Съезд июля 1922 года подвёл под этот процесс организационную черту.

Дальше всё шло через кооперацию — и всё меньше по воле кооператоров. В 1925 году в Сибирском крае действовало около 4800 сельскохозяйственных кооперативов, объединявших примерно четверть крестьянских дворов (т. 4 ИС, с. 785); к концу 1928 года всеми видами сельскохозяйственной

кооперации было охвачено 40,5% хозяйств края, а потребительская кооперация к 1929 году охватывала около 83% (т. 4 ИС, с. 231). Число пайщиков росло, но росла и роль кооперации как заготовителя. Её доля в хлебозаготовках Сибири составляла 42% в 1924/25 году, 53% в 1925/26-м, 60% в 1926/27-м, 75% в 1927/28-м и почти 95% в 1929/30 году (Ильиных, с. 17, 81, 92). В 1928 году на кооперацию приходилось 78% заготовок хлеба, 75% масла, 66% мяса и больше 80% сбыта сельскохозяйственных машин (т. 4 ИС, с. 231). Ильиных называет такую кооперацию «фактически огосударственной» (Ильиных, с. 17).

Как это делалось, видно по документам. При губернских и уездных партийных комитетах работали кооперативные комиссии, которые направляли «развитие кооперации» (т. 4 ИС, с. 785). Апрельский пленум ЦК 1926 года потребовал, чтобы государство «фактически господствовало» на заготовительном и потребительском рынках; по новой схеме на каждый район оставляли одного-двух заготовителей, кооперации запрещали покупать у частных, а центры кооперации, пишет Ильиных, лишились самостоятельности (Ильиных, с. 82–83). Кооперация, которая не могла ни выбирать покупателя, ни назначать цену, ни отказаться от планового задания, перестала быть кооперацией в том смысле, в каком её понимали сибирские кооператоры начала века. Она стала заготовительной конторой с выборным фасадом.

Проверим её нашими четырьмя вопросами (0.3). Кто да-

вал полномочия правлению? Формально — собрание пайщиков; на деле список кандидатов согласовывала кооперативная комиссия партийного комитета, а неугодных выводили через ГПУ. На какой срок и для какой задачи? Задачу определял не пайщик, а план заготовок. Кто контролировал работу правления? Вышестоящий союз, Наркомторг и Рабкрин, а не собрание. Кто мог его отозвать? Тот же партийный комитет. Сельский кооператив 1927 года был ближе к государственной лавке, чем к артели 1913 года.

При этом в низах кооперация продолжала жить своей жизнью. В Сибири быстро росли простейшие производственные товарищества — машинные, семеноводческие, мелиоративные, животноводческие. К концу 1928 года их было 6627, они объединяли 7,3% хозяйств и за два года выросли в 2,7 раза (т. 4 ИС, с. 231). Крестьяне складывались, чтобы купить молотилку или трактор, вместе очищали семена и пасли скот. Для Сибири было характерно и необычно широкое распространение сельскохозяйственных коммун — больше, чем в среднем по стране (т. 4 ИС, с. 231); часть из них выросла ещё из партизанских коммун 1919–1920 годов. Эти товарищества и коммуны создавались добровольно и решали свои дела на общих собраниях. Через два-три года именно они станут первым материалом для сплошной коллективизации: из 434 колхозов, созданных в Омском, Новосибирском и Барабинском округах с октября 1927 по май 1928 года, больше 40% были преобразованы из простейших коопе-

ративов (т. 4 ИС, с. 231). Добровольная взаимопомощь станет ступенькой к принудительному колхозу — так же, как сход станет орудием разверстки (гл. 6).

На другом конце света в те же годы фермеры прошли путь в обратную сторону. В Канаде в 1919 году государство создало Пшеничный совет, который скупал у фермеров весь урожай по единой цене и сам продавал его. В 1920 году Совет распустили, и цены рухнули. Фермеры не стали ждать, пока государство вернёт монополию: в 1923 году в Альберте, в 1924-м в Саскачеване, в 1926-м в Манитобе они создали собственные пулы — кооперативы, члены которых подписывали контракт на сдачу зерна на несколько лет вперёд. Пулы выбирали делегатов, строили элеваторы и через общее агентство сами продавали пшеницу на мировом рынке. До кризиса 1929 года канадские пулы были одними из крупнейших торговцев зерном в мире. Канадские фермеры заменили государственную монополию своей кооперацией; сибирские крестьяне видели, как их кооперацию превращают в государственную монополию.

Но если кооперация к 1927 году стала конторой, то рынок, на котором она работала, к тому же году перестал быть рынком. Последний параграф главы — о том, как сибирские власти задушили нэп ещё до того, как Москва решила его отменить.

2.5. Рынок без рынка

23 января 1925 года председатель Совнаркома Алексей Рыков потребовал от председателя Сибревкома Лашевича объяснений. В начале месяца Сибревком, не сумев сдержать частных хлеботорговцев экономически, поручил ОГПУ «под любыми предлогами» арестовать крупнейших из них; взяли четырнадцать человек. Сибревкому пришлось признать, что аресты проведены «под другими предлогами», а по сути — за «срыв» заготовок (Ильиных, с. 60). Москва в эти месяцы как раз поворачивала к либерализации: январские закупки по стране оказались вдвое меньше декабрьских, цены росли, и центр предлагал снять ограничения с частника и поднять закупочные цены. Сибирь указаний не выполнила: вместо повышения лимитов на четверть подняла их на десятую часть, Томский губисполком счёл повышение цен «политически» вредным, а Алтайский предлагал запретить частникам вагоны даже внутри Сибири (Ильиных, с. 60–62). Ильиных делает из этого вывод, который полезно держать в голове всем, кто представляет сталинскую Сибирь жертвой одного Сталина: сибирские власти шли к монополии последовательнее центра, срывая попытки Москвы либерализовать рынок (Ильиных, с. 94).

Крестьяне ответили по-своему — не продавали хлеб по государственной цене. Бедняки, которым нужны были день-

ги, сбывали три четверти хлеба осенью, когда он дешёв; зажиточные придерживали его до весны, когда цена поднималась. В 1924 году сибиряки везли хлеб в Семипалатинск, где за пуд давали рубль тридцать против восьмидесяти копеек дома (Ильиных, с. 54–55). Зимой 1924/25 года, когда заготовители держали низкие цены, закупки в феврале упали почти на пятую часть. Ильиных называет это второй «хлебной стачкой» нэпа, в которой участвовали уже не бедняки, давно продавшие всё, а более состоятельные слои деревни (Ильиных, с. 61). Задержка хлеба была, по его словам, формой давления крестьян на государство, и главными её участниками были середняки (Ильиных, с. 56). Ни саботажа, ни заговора в ней не было: крестьянин, как и любой продавец, ждал лучшей цены. Сталин потом скажет на XIV съезде, что мужик умеет маневрировать (Ильиных, с. 7).

Апрельский пленум ЦК 1925 года осудил «пережитки военного коммунизма», в том числе борьбу административными мерами против частной торговли, и разрешил заготовителям платить «несколько выше частных скупщиков» (Ильиных, с. 66–67). Сибирский урожай 1925 года был на 31% выше прошлогоднего, план — 85 миллионов пудов. Но в сентябре, когда цены поднялись выше директивных, а в Омский округ съехались двадцать четыре иногородние организации и двести четыре частных заготовителя, край снова повернул к администрированию. 15 октября 1925 года Сибревком запретил кредитовать частных и торговать с ними оптом, ве-

лел расторгнуть договоры и создавать частнику «затруднения по всем линиям — налоговой, складской». В октябре — ноябре НКПС и СТО запретили вывоз частного и иногороднего зерна из края и ввели «экономическое регулирование»: частные грузы отнесли к пятой категории, то есть фактически перестали грузить (Ильиных, с. 68–72). Один из руководителей крайторга рассказывал в январе 1926 года, что часть частных арестована, у них отбирают мельницы и «таскают» их в торговые органы (Ильиных, с. 72). Надзирали за этим экономические отделы ОГПУ.

Крестьяне и тут нашли ходы. Они везли хлеб гужом в Туву, Забайкалье, Казахстан, мололи его на частных мельницах, а зажиточные односельчане скупали у них до девяти десятых подвоза: на Барнаульском рынке 28 декабря 1925 года из трёхсот возов государство купило двенадцать (Ильиных, с. 75–76). В сводке ОГПУ записаны слова крестьянина из Камня, который подвёл итог нэпа точнее любого экономиста: «крестьянин проспал свободу, и все выиграли рабочие» (Ильиных, с. 75). Сибирский крайисполком ставил задачу «сломить сопротивление крестьянства» и бороться с частником, «обставляя эти меры соответствующими формальностями» (Ильиных, с. 76). Цены в Сибири удержали, но победа, по слову Ильиных, оказалась пирровой: сбор вырос на треть, а закупки — лишь на 7%, первоначальный план выполнили на 61%, и доля Сибири в союзных заготовках упала с 15,5 до 8,9% (Ильиных, с. 80–81).

В 1926/27 году монополия стала полной. Весной 1926 года крайисполком закрепил за каждым районом одного-двух заготовителей — «Сибхлебопродукт», Сибкрайсоюз, Сибсельскосоюз, Сибторг и мельничные тресты — и прекратил частнику кредит. Тарифы на перевозку частного зерна подняли в полтора раза, муки — вдвое, подоходный налог с частника дошёл до 66% против 25–30% в 1923/24 году; арендованные частниками мельницы отбирали, а сельсоветам запретили сдавать их в аренду, и простаивающие мельницы консервировали. Уже в начале осени 1926 года, пишет Ильиных, частник был вытеснен из межрайонного хлебооборота (Ильиных, с. 85–89). Сибирь сдала 80 миллионов пудов — на 54% больше, чем годом раньше, но государственные заготовители, не столь «разворотливые», как частники, гноили зерно под открытым небом, а в Рубцовском округе сдатчики стояли в очередях по суткам и больше (Ильиных, с. 87, 90–92). Заведующий крайторготделом Злобин в апреле 1927 года подвёл итог одной фразой: «мы забираем почти все продукты, которые крестьянин вывозит на рынок» (Ильиных, с. 92). К 1927 году рыночный механизм ценообразования в Сибири был окончательно заменён директивным (Ильиных, с. 94).

Так закончился сибирский нэп — без постановлений об отмене, без чрезвычайных мер, задолго до поездки Сталина. Частника задушили не запретом, а тарифами, налогами, кредитом и арестами «под другими предлогами»; коопера-

цию превратили в контору; цену назначали в Новосибирске и Москве. От нэпа у деревни осталось одно право — не продавать свой хлеб по чужой цене. Его она и использует в последний раз зимой 1927/28 года (гл. 5).

В те же годы по другую сторону Японского моря другая метрополия выкачивала хлеб из своей колонии рыночными, но не менее жёсткими средствами. После рисовых бунтов 1918 года японское генерал-губернаторство в Корее приняло в 1920 году план увеличения производства риса: орошение, новые сорта, кредиты землевладельцам. Производство выросло, но ещё быстрее вырос вывоз. Если в 1914–1918 годах из Кореи в Японию вывозили в среднем около полутора миллионов коку риса в год, то в 1924–1928 годах — около пяти с половиной миллионов. Корейские историки называют это «голодным экспортом»: потребление риса на душу в самой Корее за те же годы заметно упало, корейцы перешли на просо и ячмень, ввезённые из Маньчжурии, а сотни тысяч разорённых крестьян ушли на заработки в Японию и в ту же Маньчжурию. Колониальная рента не требует ни заградотрядов, ни трибуналов — достаточно того, чтобы цену и направление вывоза определял не тот, кто растит хлеб. Сибирь 1920-х годов отличалась от Кореи тем, что её хозяева называли себя рабоче-крестьянской властью.

Хлеб, масло и кооперация — таким был нэп для русской сибирской деревни. Для народов, которые жили в Сибири задолго до русских, двадцатые годы значили другое: для них

это было время новых автономий, письменности и первых национальных школ — и время, когда решалось, кто будет распоряжаться их землями и промыслами. Об этом — следующая глава.



Глава 3. Народы Сибири в 1920-е

3.1. Автономии, выданные сверху

1–5 мая 1923 года в селе Улала, будущем Горно-Алтайске, заседал Учредительный съезд Советов Ойротской автономной области. Он избрал облисполком, а первая сессия исполкома утвердила его председателем Николая Иванова-Меджита (т. 4 ИС, с. 285–286). Пять лет назад, в феврале 1918 года, в той же Улале другой съезд провозгласил самостоятельность Горного Алтая и обсуждал проект тюркского государства «Каракорум» от Алтая до Тувы (Форсайт, с. 276–278). Тот съезд собрали сами алтайцы. Этот создавали по постановлению ВЦИК от 1 июня 1922 года, после того как Красная армия и части особого назначения добились на Алтае отряд Кайгородова (1.2). Автономия пришла в Горный Алтай не так, как её хотели в 1918 году, — не снизу, а сверху, вместе с ревкомом, который правил областью до съезда.

Так было почти везде. Якутскую АССР провозгласили 27 апреля 1922 года, в разгар войны с повстанцами (т. 4 серии, 26.2). Бурят-Монгольских автономий в гражданскую войну возникло две: одна в 1921 году на земле ДВР, другая 9 января 1922 года в пределах РСФСР. После упразднения ДВР постановлением Президиума ВЦИК от 30 мая 1923 го-

да их объединили в Бурят-Монгольскую АССР со столицей в Верхнеудинске; правительство возглавил Михей Ербанов (т. 4 ИС, с. 285). Ходатайство хакасов о своей административной единице поддержал Енисейский губисполком, и в 1923 году появился Хакасский уезд с центром в Усть-Абаканском, где жило около пятидесяти тысяч хакасов; в 1925 году его преобразовали в Хакасский округ Сибирского края. В августе 1925 года выделили Горно-Шорский национальный район, в Омской губернии создали тридцать казахских аульных и одиннадцать татарских сельсоветов. Для западных «нацменьшинств», переселившихся в Сибирь до революции, в 1924–1927 годах организовали 64 немецких сельсовета (семнадцать из них в 1927 году объединили в Немецкий район), 16 латышских, 21 эстонский, 312 украинских и 50 белорусских (т. 4 ИС, с. 286).

Это были реальные завоевания, и мы не станем их преуменьшать. Белые правительства, как мы писали в прошлом томе, народам Сибири ничего подобного не дали бы (т. 4 серии, 28.4). У хакасов в 1924–1925 годах появился алфавит и первые учебники, в конце 1925 года — шорская письменность; якуты и буряты перешли на латиницу, ликпунктов в Сибирском крае стало 290 в 1926 году против 81 в 1923-м. В Ойротии к 1927 году грамотных было 23,1%, и около половины из них — алтайцы (т. 4 ИС, ч. 5). Впервые за триста лет язык, на котором говорил народ, стал языком школы и печати.

Но в той же «Истории Сибири» есть фраза, которая показывает пределы этой автономии. В 1922–1925 годах, пишут её авторы, среди национальной интеллигенции южной Сибири высказывалось мнение об объединении Хакасии, Горного Алтая, Шории и Тувы в одну Тюркскую Советскую Республику; это было «совершенно нереальным делом» и не получило поддержки «в законодательных органах Российской Федерации» (т. 4 ИС, с. 286). Решали, какой будет автономия и где её границы, не алтайцы и не хакасы, а Москва и губернские исполкомы. Джеймс Форсайт добавляет к этому, что в Ойротии при её создании не было ни одного алтайца на административной должности (Форсайт, с. 278); «История Сибири» называет председателем облисполкома Иванова-Меджита, и это расхождение мы оставляем читателю как пример того, насколько по-разному два источника видят одно и то же. Ещё показательнее Якутия. По советской «Истории» конституцию Якутской АССР приняли в 1924 году (т. 4 ИС, с. 286); по Форсайту, якутскую конституцию 1926 года Москва не утверждала до 1936 года, потому что ей не нравился её «ярко якутский характер» (Форсайт, с. 256). Автономия существовала, пока она не пыталась быть автономией.

У бурят была особая судьба, потому что за их спиной стояла Монголия. В 1917 году Всебурятский съезд требовал автономии на единой территории и школы на монгольском языке; в гражданскую войну одни буряты служили у Семёнова, другие уходили в Маньчжурию и Монголию, а в Хорин-

ском аймаке лама Сандан Цыдэнов создал теократическое движение — против мобилизаций, против обрусевшей интеллигенции и против официальной церкви одновременно. Его сажали и при Семёнове, и при ДВР; движение подавили к 1924 году (Форсайт, с. 271–275). Буддизм же советская власть в Бурятии почти не трогала до конца 1920-х годов: в 1922 году в дацанах училось четыре тысячи учеников. Форсайт объясняет эту осторожность тем, что власть действовала в чужой земле, где антирусские настроения были сильны (Форсайт, с. 275). Перелом наступил только в 1929 году, когда ЦК принял постановление против «панмонголизма» (Форсайт, с. 330–331).

Панмонголизм не был выдумкой. Монголия и Тува в 1920-е годы формально считались независимыми государствами, но фактически были продолжением Сибири — и сферой, где Москва правила руками сибиряков. В июле 1921 года в Ургу вошли части Красной армии вместе с монгольскими революционерами; войска и полиция новой Монголии на первых порах состояли из бурят и калмыков. Два бурята определили её первые годы. Цыбен Жамцарано, учёный, пылкий буддист и монгольский националист, писал программу Монгольской народной партии. Элбек-Доржи Ринчино, которого мы знаем по прошлому тому, стоял на жёсткой советской линии, руководил госбезопасностью и, по Форсайту, был причастен к «ликвидации» премьеров Бодо в 1922 году и Дандзана в 1924-м; из семи членов пра-

вительства 1921 года пятерых казнили «под русским покровительством». До 1928 года Улан-Батор, провозглашённый в 1924 году столицей Монгольской Народной Республики, вёл и собственную политику: мечтал объединить всех монголов, включая бурят (Форсайт, с. 279–280). Тува в августе 1921 года стала Танну-Тувинской Народной Республикой; её правительство принимало законы против русских поселенцев, а премьер Дондук в 1928 году объявил буддизм государственной религией и запретил антирелигиозную пропаганду. В 1929–1930 годах выпускники московского Коммунистического университета трудящихся Востока совершили в Кызыле переворот, разгромили монастыри и перевели тувинский язык на латиницу (Форсайт, с. 280–281). Монгольский и тувинский «уклоны» были подавлены в те же месяцы, что и сибирский нэп, — и теми же людьми. Как Тува стала частью СССР, мы расскажем в главе 18.

Автономия, которую разрешают и запрещают из столицы, была в те годы не только советским изобретением. 26 сентября 1922 года польский сейм принял закон о самоуправлении трёх воеводств Восточной Галиции — Львовского, Тарнопольского и Станиславовского, где большинство составляли украинцы. Закон обещал местные сеймики, двуязычие в учреждениях и украинский университет. Через полгода, в марте 1923 года, Совет послов Антанты признал Восточную Галицию польской, во многом под это обещание. Закон так и не ввели в действие, украинского университета во Львове

не открыли, а украинские партии в конце 1920-х годов перешли к бойкоту и подполью. Обещанная сверху автономия не стоила ничего, как только центру перестало быть нужно её обещать.

Республики и области были вывеской. Решалось всё ниже — там, где жили народы, которым даже автономной области не полагалось.

3.2. Комитет Севера и родовые советы

Весной 1922 года Павел Сосунов, глава Полярного подкомитета Наркомнаца, собрал конференцию народов низовий Оби. Делегаты — ханты, манси, ненцы — говорили о том, о чём их до сих пор никто не спрашивал. Один из них, приехавший из Обдорска, сформулировал итог революции короче любого историка: раньше туземец был в зависимости от купца, а теперь купцом стало государство (Слёзкин, гл. 5, сн. 556). Делегаты просили выделить Тобольский Север в отдельную единицу: эксплуатация, говорили они, может быть заглажена только их собственным управлением (Слёзкин, гл. 5, сн. 544). Тюменские губернские власти ответили арестом Сосунова — за «стремление выделить крайний север в автономную область», хотя автономизация в те месяцы была официальной линией партии. Томский губисполком тогда же заявил, что Нарым надо колонизировать русскими, иначе он так и останется «безлюдным» (Слёзкин, гл. 5, сн. 546–547).

Малых народов Севера — ханты и манси, ненцев, эвенков, эвенов, чукчей, коряков и других, всего около ста пятидесяти тысяч человек — в национальную государственность не пустили: их сочли слишком немногочисленными и «отсталыми» для автономий. Гражданская война разорила их

сильнее, чем русских. Белые и красные мобилизовали тунгусов и каюров, партизаны «добыли» у нанайцев сотни винтовок и лодок и тысячи лошадей и собачьих упряжек, поголовье оленей у ненцев, чукчей и коряков упало вдвое, у части енисейских эвенков — на девять десятых. Потом пришли оспа и тиф (Слѣзкин, гл. 5, сн. 522–528). Продналог воспроизвёл ясак: сургутские ханты в 1921–1922 годах платили маслом, шерстью, сеном, несли подводную повинность и отдавали десятую часть улова как «аренду»; чтобы выполнить все повинности, по подсчётам одного инспектора, требовалось двадцать восемь месяцев работы в году (Слѣзкин, гл. 5, сн. 552–553).

На помощь Северу пришли не партийцы, а бывшие ссыльные этнографы-народники — люди, которые полжизни прожили среди северных народов и знали их языки: Владимир Богораз, Лев Штернберг и их ученики. Летом 1924 года бывший командарм Анатолий Скачко предупредил ЦК, что через десять лет северные народы «вымрут дотла», и назвал эксплуатацию при советах самой бесстыдной за триста лет (Слѣзкин, гл. 5, сн. 614–615). 29 июня 1924 года Президиум ВЦИК создал Комитет содействия народностям северных окраин — Комитет Севера — с председателем Петром Смидовичем; в него записали Луначарского, Красина, Ярославского, Семашко, но громкие имена заменяли бюджет, а работу вели Скачко и группа Богораза (Слѣзкин, гл. 5, сн. 620). Богораз предлагал взять за образец американское Бю-

ро по делам индейцев: обычное право, финансирование за счёт северных предприятий, «агентов» вне местного контроля и этнографов в роли инспекторов (Слёзкин, гл. 5, сн. 608–610). Комитет хотел ограничить частную торговлю, запретить спиртное, отменить налоги, вернуть долгосрочный кредит и «запасные магазины», развивать кооперацию как школу самоуправления и строить культбазы — «миссии» с больницей, школой и ветпунктом (Слёзкин, гл. 5, сн. 634–642).

В октябре 1926 года ВЦИК и СНК РСФСР утвердили «Временное положение об управлении туземных народностей и племён северных окраин». Родовые собрания избирали родовые советы из трёх человек, которые разбирали гражданские и мелкие уголовные дела по обычному праву; выше стояли районный туземный съезд и туземный райисполком — тузрик (Слёзкин, гл. 5, сн. 645–646). Юрий Слёзкин заметил, что это был Устав об управлении инородцев Сперанского 1822 года, где управы переименовали в советы, а единственной новинкой стало лишение прав «эксплуататоров», которое в тундре выглядело комично. Мы напомним, что у Сперанского мы нашли и образец Сибревкома (1.1): сибирская администрация XIX века давала советской власти готовые формы и для русской Сибири, и для «инородцев».

Северяне отнеслись к новым советам по-своему. Чукчи в 1927 году отказались выбирать лагерный комитет: моржей, сказали они, больше не станет, если выбрать представителя (Слёзкин, гл. 5, сн. 722). Кандидаты в председатели отказы-

вались, объясняя, что у них все равны и никакого начальства быть не может (Слёзкин, гл. 5, сн. 723). Авамские нганасаны решили остаться без родового совета, потому что считали его навязанным силою, и спросили, обязаны ли они подчиняться инструктору так же беспрекословно, как раньше подчинялись приставу (Слёзкин, гл. 5, сн. 724–725). Там, где советы появились, их часто составляли прежние старшины; инструктора встречали фразой «Я родсовет», а на вопрос о работе исполкома отвечали, что исполком ушёл рыбу ловить (Слёзкин, гл. 5, сн. 729–730). Тазовские ненцы в 1927 году признались, что письменные распоряжения у них лежат нечитанными (сн. 731). Однажды ненцы, выбрав по требованию властей родовой совет, тут же провели второе, тайное собрание и выбрали князя: русским, объяснили они, нужен совет, а ненцам нужен вождь (Форсайт, с. 249).

Для нас эти отказы — не «отсталость», а самоуправление. Эгалитарная община, где все решения принимаются вместе и никто не командует, не нуждалась в выборном начальстве и видела в нём ту же власть, только с новым названием. Родовой совет, учреждённый в Москве, по нашим четырём вопросам (0.3) был таким же назначенным органом, как сельсовет в русской деревне: полномочия ему дал ВЦИК, бюджета у него не было, контролировал его русский РИК, а отозвать его по-настоящему северяне могли только одним способом — не признавать. Сам Смидович в конце 1928 года признал, что строй жизни на Севере в широком масштабе

не изменился (Слѣзкин, гл. 5, сн. 749). Через два года, когда начнётся «классовая борьба в тундре», этот строй попытаются сломать силой (гл. 11).

Этнографы-опекуны, которые хотели спасти «первобытные» народы, отгородив их от цивилизации, работали в те же годы и на западе Европы. В Швеции с начала века действовала политика, которую сами чиновники формулировали «лопарь должен оставаться лопарём»: кочевых саамов считали народом, который погибнет от соприкосновения с городом, поэтому их детей учили в особых «кочевых школах» — в чумах, на упрощённой программе, чтобы не отрывать их от оленей. Закон об оленеводстве 1928 года закрепил право пасти оленей только за кочевыми саамами-оленоводами; осевшие саамы теряли права на землю и воду и переставали считаться саамами вовсе. Богораз и Скачко, кстати, ставили скандинавских «культурных кочевников» в пример (Слѣзкин, гл. 8, сн. 1089). Опека спасала, но и запирала: решать, кем быть, саамам и северянам одинаково не давали.

Комитет Севера мог защищать северян от бюрократов в Москве. От тех, кто жил с ними рядом, защитить их он не мог.

3.3. Чьё самоуправление

На реке Таз в конце 1920-х годов работала доктор Норкина. Она требовала, чтобы на места при фактории и больнице нанимали туземцев, а не родню местного начальства. Её оклеветали и избили (Слёзкин, гл. 5, сн. 713). В одном северном районе за 1927–1928 годы уволили одного за другим пятерых врачей, присланных Комитетом Севера; один из них покончил с собой. Доктор Мухаршев отказался поделиться казённым спиртом и получил два года (Слёзкин, гл. 5, сн. 711–712). Этнографа Ерухима Крейновича выслали с западного побережья Сахалина — он перебрался на восточное и открыл школу там (сн. 714). Эти истории показывают, против кого на самом деле воевал Комитет Севера. Не против Москвы — Москва его терпела. Против местной русской власти.

Посты на Севере после гражданской войны заняли приезжие коммунисты и бывшие красные командиры, для которых туземцы были воплощением «отсталости». Камчатский ревком запретил вместе со спиртом и мухомором «бусы, бубенчики, гармошки» (Слёзкин, гл. 5, сн. 535). Но чаще советы и ревкомы на деле возглавили старожилы — местные торговцы и зажиточные крестьяне, которые и до революции вели торговлю с иностранцами (сн. 539). Кочевников включали в общие сельсоветы, где большинство было русским, и ре-

шать вопросы земли и налогов стали поселенцы (сн. 541). В Нарыме смешанные советы сдавали туземные угодья в аренду (сн. 721). Амурские советы подчинили русским районам (сн. 720). Хабаровский исполком вообще не стал создавать родовые советы, чтобы не «испортить статистику» выборов (сн. 718). Волисполкомы не финансировали родсоветы, торговлю держали прежние «друзья» туземцев под вывеской кооперации (сн. 670, 718). Переселенцы шли на туземные земли без всяких разрешений: в 1925 году нелегальными были 80% переселенцев на Север, в 1926-м — половина (сн. 630). Когда же переселение стало плановым, государственным, туземцам стало только хуже (сн. 631).

Мы обещали во введении сказать об этом прямо (0.3), и скажем. В 1920-е годы самой хищной властью для северных народов была не Москва и не губернский центр, а та, что ближе всего, — старожильческий районный исполком, сельсовет, торговец, ставший председателем кооператива. Областник, который верит, что любое местное самоуправление лучше центральной власти, должен держать в голове эту картину. Местное самоуправление хорошо тогда, когда это самоуправление тех, кто живёт на земле, а не самоуправление сильных над слабыми. Русский старожильческий сход, который сдавал в аренду хантыйские угодья, был таким же самоуправлением, как стачком 1989 года, и при этом был хищником. Вопрос «чье самоуправление» — главный вопрос всей нашей серии.

Тот же вопрос стоял и внутри самих народов. Большие народы Сибири теснили малых так же, как русские теснили их. Форсайт, сочувствующий якутам и бурятам, признаёт, что якутский и бурятский национализм по отношению к более слабым соседям мало чем уступал русскому. Якутский комитет Севера ничего не делал для витимо-олёкминских эвенков до 1929 года — школы им открывали русские кооператоры; якуты селились на тунгусских землях, председателями эвенских и эвенкийских национальных советов обычно были якуты; часть забайкальских тунгусов ушла в Монголию от бурятской дискриминации (Форсайт, с. 250–251, 256). Малые есть и внутри малых. Это не отменяет права якутов и бурят на самоуправление — и не отменяет права эвенков на защиту от них.

На другом конце света в 1928 году местная власть показала, на что она способна, когда её никто не контролирует. 7 августа 1928 года в Центральной Австралии у колодца Конистон аборигены убили старателя Фреда Брукса. Полицейский констебль Уильям Мюррей с отрядом поселенцев за несколько недель прошёл по округе и убил, по официальным данным, тридцать одного человека; по свидетельствам самих аборигенов варлпири, анматьерре и кайтетье, погибло от шестидесяти до ста с лишним мужчин, женщин и детей. Правительственная комиссия в январе 1929 года признала убийства «оправданными». В Канберре никто не приказывал устраивать бойню; её устроили соседи, которые лучше всех

«знали местные условия».

Там, где северянам и тунгусам не давали защиты ни Москва, ни свои старшины, они защищались сами. В 1924 году на Охотском побережье это кончилось восстанием.

3.4. Тунгусская республика

10 мая 1924 года отряд восставших тунгусов и якутов занял Нелькан — торговое село на Мае, через которое шла дорога из Якутска к Охотскому морю. В июне в Нелькане собрался съезд и создал Временное центральное тунгусское национальное управление. 6 июня восставшие взяли порт Аян, а 14 июля 1924 года в Аяне провозгласили независимость тунгусской территории — около ста тысяч квадратных километров Охотского побережья и восточной Якутии с населением около тринадцати тысяч человек. Съезд утвердил трёхцветный флаг и гимн на стихи 1917 года и обратился в Лигу наций с просьбой защитить малую народность от русского коммунизма. Командовал отрядами тунгус Павел Карамзин, начальником штаба был якут Михаил Артемьев (Форсайт, с. 257–258).

Причины восстания называли и сами восставшие, и позднее историки. Советская власть в 1923 году закрыла порты Охотского побережья для иностранной торговли, на которой жило всё население берега, — привоза из Японии и Америки не стало, а своего не завезли. Охотские власти реквизировали оленей и пастбища, взыскивали с эвенков старые долги, сделанные ещё при белых, обстреливали стойбища из пулемётов в годы «военного коммунизма»; не было ни национальных школ, ни переводчиков. Тунгусы, как и якуты в

1921–1922 годах и западносибирские крестьяне в 1921-м, восстали не против революции, а против того, что ей сопутствовало: реквизиций, назначенцев и запретов.

Форсайт, внимательный к «малым внутри малых», видит в Тунгусском восстании прежде всего якутскую затею: якуты составляли 65% «тунгусской» армии, которая на пике насчитывала около пятисот человек (Форсайт, с. 257–258). Сводки о сдаче оружия подтверждают его: из 484 бойцов отряда Артемьева, сложивших оружие, 315 были якутами, 85 — тунгусами, 46 — русскими, остальные — татарами, поляками, камчадалом и корейцем; отряд Карамзина насчитывал 35 человек. Восстание на тунгусской земле вели в основном якуты, которые прошли через войну 1921–1923 годов и поход Пепеляева. Артемьев сам был таким: в 1920 году он председательствовал в ревкоме, в 1922-м ушёл к повстанцам, в 1923-м служил у Пепеляева, а теперь воевал за тунгусов. Но и тунгусы шли за ним: съезд в Нелькане был тунгусским съездом, и вопрос о тунгусской автономии он поставил впервые.

Кончилось восстание не разгромом, а переговорами. Со стороны советской власти их вели, среди прочих, Иван Строд — тот самый, что в 1923 году выдержал в Сасыл-Сысы осаду пепеляевцев (т. 4 серии, 26.4). Артемьеву обещали, что руководство Якутской АССР не ведёт террора, что в республике идёт национальное возрождение и что обсуждается присоединение тунгусских районов к Якутии. 9 мая 1925

года было заключено мирное соглашение, отряд Артемьева единогласно решил сложить оружие, и участников амнистировали. В августе 1925 года управление распустили, на побережье ввели родовые советы, в части районов советы появились только после 1928 года. Цена войны и реквизиций легла на хозяйство: охотские эвены потеряли две трети оленей, колымские — восемь десятых (Форсайт, с. 258). Амнистия продержалась недолго: в 1927 году Артемьев снова ушёл в подполье — к якутским конфедералистам.

Восстание горного народа, которому мандатная власть обещала автономию, а затем прислала губернатора-реформатора, вспыхнуло в те же месяцы на Ближнем Востоке. В подмандатной Сирии французы в начале 1920-х годов создали отдельное государство Джебель-Друз, но назначенный ими губернатор, капитан Габриэль Карбийе, гнал друзов на принудительное строительство дорог и ломал власть родовых старейшин. В июле 1925 года друзы под командой Султана аль-Атраша восстали, в августе разгромили французскую колонну у аль-Мазрааы, и восстание перекинулось на всю Сирию. В октябре 1925 года французская артиллерия двое суток обстреливала Дамаск. Война шла до 1927 года и закончилась поражением повстанцев и изгнанием аль-Атраша. Как и в Аяне, автономия, данная сверху, кончилась восстанием тех, кому её дали, — и тем, что власть вспомнила о переговорах только после того, как не справилась силой.

Тунгусы получили родовые советы. Якуты, у которых бы-

ла целая республика со своим правительством, через два года после аянского мира решили, что и республики им мало.

3.5. «Социализм без коммунистов»: якутские конфедералисты

В августе 1927 года в Якутск приехал уполномоченный ОГПУ С. М. Буда — по-видимому, тот самый Буда, который в 1919 году был членом штаба Северо-Канского партизанского фронта и ревтрибунала Тасеевской республики, а в 1931 году возглавит Красноярский горотдел ОГПУ (Метёлкина, с. 122). Он привёз список людей, подлежащих аресту; в списке были видные деятели якутской национальной интеллигенции. Начались массовые аресты (Винокуровы, с. 135). Бывший партизан Тасеевской республики, где в 1919 году сход выбирал свою власть, приехал арестовывать якутов, которые хотели того же для себя.

Якутия 1920-х годов была самой сильной из сибирских автономий, потому что у неё было то, чего не было у других: своя интеллигенция. Ещё в 1917 году якутов было 235 тысяч из 285 тысяч жителей области, и среди них выросло поколение учителей, врачей, юристов, учившихся в Иркутске, Томске, Казани, Петербурге. Многие из них в студенческие годы общались с сибирскими областниками, читали Потанина и Ядринцева, и идея сибирской автономии стала для них идеей якутской автономии. В 1917 году якутские федералисты вместе с эсерами образовали «Объединённую демократию», в феврале 1918 года в Якутске заговорили о независимости

(Форсайт, с. 253–254). При советской власти лучшие из этого поколения пошли служить республике. Платон Ойунский создавал якутскую советскую литературу, Максим Аммосов возглавлял якутскую партийную организацию; Алексей Кулаковский, поэт и учёный, писал, что русские несут якутам гибель и рабство. В 1922 году возникло культурное общество «Саха омук» и журнал «Чолбон», в которые власти так и не смогли внедриться (Форсайт, с. 256–257). В 1924 году якуты составляли три четверти членов райисполкомов, школы учили на якутском (Форсайт, с. 256). IV съезд Советов Якутии в 1926 году высказался против переселения русских в республику и за то, чтобы посредником между властью и народом была национальная интеллигенция (Форсайт, с. 257).

У якутской автономии был и свой «вопрос о ренте». В 1923 году на Алдане нашли золото. Через два года там работало больше тринадцати тысяч человек, из них якутов — 3,2%, а вскоре прииски давали треть золота СССР (Форсайт, с. 256). Бодайбинский район ещё в 1922 году отрезали от Якутии в пользу РСФСР. Республика, на земле которой добывали золото, ничего не решала ни о приисках, ни о людях, которых на них везли. В 1931 году от Якутии отрежут ещё треть территории — колымское золото отдадут Дальстрою (Форсайт, с. 315).

В 1927 году часть якутской интеллигенции решила, что служба республике ничего не изменит. Юрист Павел Ксено-

фонтов основал «Младоякутскую национальную советскую социалистическую партию середняцкого и бедняцкого крестьянства» — конфедералистов. Партия требовала политического самоуправления якутского народа: вступления Якутии в СССР на правах суверенной союзной республики, а если это невозможно, — выхода из СССР (Винокуровы, с. 134). Форсайт передаёт их лозунг словами, которые прозвучали бы знакомо читателю прошлого тома: «социализм без коммунистов» (Форсайт, с. 257). В 1921 году западносибирские крестьяне требовали «Советов без коммунистов» (т. 4 серии, гл. 25); через шесть лет якуты требовали того же — социализма, республики и самоуправления, но без партийной вертикали. Это было областничество на якутской почве, и мы относимся к нему так же, как к областничеству Потанина: как к своему.

Летом 1927 года ОГПУ «раскрыло» подпольную партию. Сталин телеграммой от 19 сентября велел якутскому секретарю дать ОГПУ раскрыть весь «заговор» до какой-либо публикации, а 27 сентября добавил, что ЦК против огласки по международным соображениям (Жирнов). Часть руководителей конфедералистов ушла из Якутска и подняла вооружённое выступление; в октябре 1927 года начальником штаба партизанского отряда выбрали Артемьева. 15 ноября ВЦИК объявил территорию республики на два месяца «неблагополучной» по бандитизму, 17 ноября Политбюро создало комиссию Кубяка с участием Ягоды и Уншлих-

та, 24 ноября поручило операцию ОГПУ и выделило на неё 250 тысяч рублей, оговорив, что расстреливать на месте без согласования нельзя. Но уже 28 декабря Буда доносил, что по приказу Ягоды всех захваченных с оружием велено расстреливать на месте (Винокуровы, с. 135–136; Жирнов). Выступление не получило широкой поддержки. К 8 марта 1928 года ОГПУ насчитывало девять отрядов, в которых было сто сорок человек; к концу марта их ликвидировали (Жирнов). Артемьев в январе 1928 года сам сдался Красной армии; 27 марта его расстреляли в Якутске.

Дальше было то, о чём в Якутии полвека говорили шёпотом. К 8 октября 1928 года по делу конфедералистов арестовали 289 человек; двадцать отпустили, сто тридцать семь приговорили к заключению и ссылке, сто тридцать расстреляли. Прокурор С. Потапов в декабре 1928 года докладывал, что в печати объявили не больше тридцати расстрелов, а в Лене потом всплывали тела с пулевыми ранами в затылке. Многие расстрелянные, признавал он, были бедняками и батраками (Жирнов). Руководители Якутии — Аммосов, Барахов, Васильев — пытались уладить дело миром и спасти арестованных, но не смогли (Винокуровы, с. 136). ЦК сделал вывод, что якутский обком был «слишком терпим» к национальной интеллигенции и что опираться надо на бедноту. «Саха омуок» закрыли, «Чолбон» передали Наркомпроу, активистов выслали (Форсайт, с. 257). Пострадавшие по делу 1928 года в начале 1930-х годов отбывали срок на Бе-

ломорканале (Форсайт, с. 318). Сам Ксенофонов погиб; обстоятельства и дата его смерти в источниках расходятся. Аммосова, Ойунского и Барахова, пытавшихся заступиться за конфедералистов, расстреляют в 1938–1939 годах; об этом — в главе 14.

В те самые недели, когда Политбюро решало судьбу Якутии, британское правительство показало, как решают судьбу колонии без колонизованных. В ноябре 1927 года Лондон назначил комиссию во главе с сэром Джоном Саймоном, которая должна была решить, сколько самоуправления дать Индии, — семь британских парламентариев и ни одного индийца. Когда в феврале 1928 года комиссия сошла на берег в Бомбее, её встретили забастовкой и лозунгом «Саймон, убирайся!»; Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига объявили бойкот. В октябре 1928 года во время демонстрации в Лахоре полиция избила дубинками лидера Конгресса Лалу Ладжпата Рая, и через несколько недель он умер. Индийцы ответили на комиссию Саймона собственным проектом конституции — докладом Мотилала Неру. Якуты ответили на свою «комиссию» программой суверенной республики — и получили за неё сто тридцать расстрелов. Британская империя хотя бы позволяла бойкотировать себя.

К концу 1920-х годов все попытки народов Сибири решать за себя были подавлены: тунгусская — переговорами и амнистией, якутская — расстрелами, северная — равноду-

шием и надзором. Те, кто не хотел ни служить, ни погибать, уходили — за границу, в Харбин, в Монголию, в Прагу. Так поступали в 1920-е годы и русские сибиряки, проигравшие гражданскую войну. Об их жизни в изгнании — следующая глава.



Глава 4. Сибирь в изгнании

4.1. Харбин: русский город на чужой дороге

19 ноября 1925 года в Харбине умер Пётр Вологодский — председатель Временного Сибирского правительства 1918 года и первый премьер Колчака (т. 4 серии, гл. 13–16). Зимой 1919/20 года он уехал в Китай, жил в Тяньцзине, состоял в комитете представителей русского населения города, занимался торговыми делами и вёл дневник, который потом станет одним из главных источников по истории сибирской эмиграции. Человек, который в 1918 году возглавлял первое сибирское правительство, избранное — пусть косвенно — Сибирской областной думой, кончил жизнь в русском городе, стоявшем на китайской земле.

Харбин был странным городом. Его построили в 1898 году как столицу Китайско-Восточной железной дороги — русской концессии, которая срезала путь к Владивостоку через Маньчжурию. До революции здесь действовали русские законы, суды и полиция; китайцы были в собственном городе иностранцами. После гражданской войны в Харбин и на станции КВЖД хлынули беженцы: солдаты и офицеры раз-

битых армий, казаки, чиновники, торговцы, инженеры, профессора, крестьяне, ушедшие от разверстки. Сколько их было, историки спорят; в середине 1920-х годов русское население Маньчжурии оценивают в сто — сто пятьдесят тысяч человек, из них большая часть жила в Харбине. Для сибиряков, проигравших войну, это была ближайшая заграница: не Париж и не Прага, а продолжение Сибири по ту сторону Аргуни — с тем же языком, той же кухней, теми же церквями и той же железной дорогой.

Но хозяином этой земли был теперь Китай. 23 сентября 1920 года китайское правительство лишило русских экстерриториальности: русские суды и полиция в полосе отчуждения перешли к китайцам, консульства, которые представляли несуществующую Российскую империю, закрыли. Миллионы русских беженцев по всему миру в те же годы стали людьми без гражданства; с 1922 года Лига наций выдавала им «нансеновские паспорта» — удостоверения, которые позволяли хотя бы пересекать границы. В Харбине нансеновский паспорт значил мало: жизнь здесь зависела от дороги.

В 1924 году СССР и Китай договорились о совместном управлении КВЖД. На дороге работали десятки тысяч человек, и советская сторона потребовала, чтобы на ней служили только советские или китайские граждане. Управляющий дорогой Алексей Иванов в 1925 году издал приказ, по которому служащих без гражданства увольняли. Эмигрантов поставили перед выбором: взять советский паспорт, что

для многих значило предать погибших товарищей, принять китайское подданство или остаться без работы. Многие брали советские паспорта, не собираясь ехать в СССР, — их потом назовут «редисками»: красные снаружи, белые внутри. Харбин раскололся на «советских» и «белых», с разными школами, клубами и газетами. С 1926 по 1928 год заместителем председателя правления КВЖД был Михаил Лашевич — бывший председатель Сибревкома, которого Москва убрала с поста после поражения «новой оппозиции». В Харбине он и умер в 1928 году, и эмигранты, по выражению историка, видели в нём «сибирского сатрапа» (Кротова; см. 1.1). Бывший хозяин Сибири и бывший председатель сибирского правительства умерли в одном городе с разницей в три года — один на советской службе, другой в изгнании.

Харбин был не только станцией. Здесь в 1920 году открылись юридические курсы, ставшие юридическим факультетом, — главная высшая школа русской Маньчжурии; здесь работали Политехнический институт, библиотеки, Общество изучения Маньчжурского края, выходили десятки газет и журналов. Здесь осели многие деятели колчаковской Сибири — министры, юристы, публицисты. Двое из них, бывшие идеологи омского правительства, разошлись в эмиграции так далеко, как только можно: Николай Устрялов стал «национал-большевиком» и в конце концов вернулся в СССР (4.3), а Георгий Гинс пришёл от либерализма к солидаризму (4.4).

Права иностранцев в чужой стране по-разному зависели от силы стоявшего за ними государства. В Египте, формально независимом королевстве с 1922 года, иностранцы до 1937 года пользовались «капитуляциями»: их нельзя было судить египетским судом, дела между ними и египтянами разбирали смешанные суды с иностранными судьями, а налоги с них египетское правительство не могло вводить без согласия держав. Египетские националисты требовали отмены этих привилегий, и только в 1937 году на конференции в Монтрё державы согласились их постепенно отменить; смешанные суды закрылись в 1949 году. Русские в Китае потеряли такие же привилегии в 1920 году, в один день, потому что за ними больше не стояло никакого государства. За белыми эмигрантами в Харбине не стоял никто; за «советскими» харбинцами стоял СССР, который в 1937 году их и уничтожит (4.5).

Харбин был эмиграцией служащих и солдат. Эмиграция идей жила западнее — в Праге.

4.2. Прага и «Вольная Сибирь»

В 1918 году Иван Якушев председательствовал во Временной Сибирской областной думе — органе, который сибирские общественные организации избрали, чтобы управлять краем, и который в сентябре 1918 года разогнали омские военные (т. 4 серии, гл. 13–14; Шишкин, Шереметьева). В 1920-е годы тот же Якушев жил в Праге и издавал журнал «Вольная Сибирь» и документальные сборники «Сибирский архив» (Винокуров, 2021). Областничество, задушенное в Сибири сначала колчаковскими офицерами, а потом советской вертикалью, продолжало жить в эмиграции — в стране, чьи солдаты в 1918 году помогли свергнуть в Сибири советскую власть, а в 1920 году выдали Колчака иркутскому Политцентру.

Чехословакия была единственной страной, которая подерживала русских эмигрантов как политику. С 1921 года правительство Масарика и Бенеша проводило «Русскую акцию»: давало стипендии тысячам русских, украинских, белорусских студентов, содержало Русский свободный университет, Русский юридический факультет, Земгор, библиотеки и издательства. Масарик рассчитывал, что эти люди вернутся в Россию, когда большевизм падёт, и станут основой демократической и федеративной России. Поэтому Прага привлекала не монархистов, которые собирались в Белграде,

Берлине и Париже, а эсеров, областников, кооператоров, демократов. Здесь выходила эсеровская «Воля России» (1920–1932), здесь работали Русский заграничный исторический архив и десятки эмигрантских обществ.

В 1926 году в Праге возникло Общество сибиряков в Чехословакии. Оно издавало книги, держало библиотеку, помогало землякам — не только в Чехословакии, но и в Китае, куда журнал «Вольная Сибирь» отправлял материальную помощь (Винокуров, 2021; Барсукова, 2005). Якушев собирал документы о сибирских эмигрантских организациях от Праги до Харбина; его «Сибирский архив» хранится теперь в фондах ГА РФ и остаётся одним из главных источников о сибирской эмиграции (Винокуров, 2021). Пражские областники продолжали спор, начатый Потаниным и Ядринцевым: Сибирь — колония, её богатства и её судьба должны принадлежать тем, кто в ней живёт, а будущая Россия может быть только федерацией. Впервые за долгое время этот спор шёл свободно. Но вёлся он без Сибири: в самой Сибири к концу 1920-х годов слово «областник» стало обвинением, за которое сажали.

Мы мало знаем о том, что именно писала «Вольная Сибирь», — журнал почти не изучен, и в нашем распоряжении нет его номеров. Ясно одно: эмигрантское областничество было течением демократическим и социалистическим, близким к эсерам, каким оно было и в 1917–1918 годах (т. 4 серии, 9.4). Правые эмигранты областников не люби-

ли: для монархиста и великодержавника «сибирский сепаратизм» был изменой единой России не меньшей, чем большевизм. Это стоит помнить тем, кто сегодня выдаёт сибирских областников за предтеч правого национализма.

Демократ, которого диктатура выгнала из страны и которому оставалось издавать журналы за границей, был в те годы фигурой европейской. Михай Каройи, граф и председатель Венгерской народной республики, провозглашённой в ноябре 1918 года, хотел провести земельную реформу и сам раздал крестьянам своё имение. В марте 1919 года он уступил власть коммунистам Бельи Куна, а после их падения и прихода адмирала Хорти уехал в эмиграцию. В Венгрии его заочно судили, конфисковали имущество, объявили изменником; в эмиграции он жил в Чехословакии, Италии, Франции, Англии, писал, выступал, поддерживал антифашистов и вернулся на родину только в 1946 году. Сибирские областники до своей родины так и не дожили.

Пражские сибиряки смотрели на советскую власть как на врага. Часть их товарищей в Харбине смотрела на неё иначе — и пыталась с ней помириться.

4.3. Сменовеховцы: Устрялов и возвращенцы

Николай Устрялов служил Колчаку пером. В 1919 году в Омске этот молодой приват-доцент, член кадетской партии, руководил Русским бюро печати — пропагандистским ведомством колчаковского правительства. После разгрома он уехал в Харбин и уже в 1920 году написал то, что показалось его бывшим товарищам предательством: большевики, хотя бы они того или нет, собрали распавшуюся страну, восстановили великую державу, и патриот должен это признать. В 1921 году в Праге вышел сборник «Смена вех», где Устрялов и его единомышленники призывали эмиграцию примириться с советской властью; движение называли сменовеховством. Сам Устрялов называл свою позицию национал-большевизмом.

В Харбине Устрялов преподавал на юридическом факультете, а с середины 1920-х годов служил на советской КВЖД. Он не скрывал, что ценит в большевиках не социализм, а государство: сильную власть, армию, единство страны. Именно поэтому его так охотно печатали в Москве и именно поэтому он так плохо понимал, что происходит в Советском Союзе. Когда в 1935 году СССР продал КВЖД Маньчжоу-го и тысячи советских служащих дороги поехали «домой», Устрялов поехал с ними. В Москве он преподавал в институте ин-

женеров транспорта. 6 июня 1937 года его арестовали, а 14 сентября того же года расстреляли.

Судьба Устрялова — крайний, но не единственный пример. Советская власть объявляла амнистии рядовым участникам белых армий, и тысячи солдат и казаков, оставшихся в Маньчжурии и Монголии без средств, возвращались. Возвращались и те, кто устал от эмиграции или поверил, что «большевики переродились». Многих из них в 1920-е годы не трогали; в 1930-е их судьбу решили одним приказом (4.5). Сменевеховство было ставкой на то, что государство, присвоившее революцию, станет «нормальным» национальным государством и в нём найдётся место для бывших противников. Устрялов поставил на государство и проиграл ему жизнь. Для нас, считающих государство не решением, а проблемой, это не удивительно: национал-большевизм был не примирением с революцией, а примирением с вертикалью, которая не прощала никого.

В те же годы в Греции другой изгнанник вернулся домой — и вернулся победителем, потому что возвращался не к государству, а к избирателям. Элефтериос Венизелос, многолетний премьер-министр и вождь либералов, после поражения на выборах 1920 года и катастрофы в Малой Азии (т. 4 серии, 26.3) жил в основном в Париже. В 1928 году он вернулся, его Либеральная партия на выборах 19 августа получила подавляющее большинство мест, и он снова возглавил правительство. Венизелоса вернули голоса греков; Устряло-

ва позвала служба советской дороге, и встретил его следователь НКВД.

Устрялов думал, что государство важнее идей. Его бывший сослуживец по омскому правительству искал выход в другую сторону — в «солидарное» общество, где государство примиряет классы.

4.4. Гинс, солидаризм и харбинские фашисты

Сегодня можно прочесть, что колчаковский режим был фашистским, и в доказательство приводят Георгия Гинса: управляющий делами колчаковского Совета министров потом, в эмиграции, будто бы примкнул к фашистам. Мы относимся к Гинсу без симпатии — он был либералом-государственником, и в прошлом томе его воспоминания служили нам источником, а не образцом (т. 4 серии, гл. 15–19). Но довод этот нужно разобрать, потому что он неверен дважды: и в том, что говорит о Гинсе, и в том, что выводит из него о Колчаке.

Георгий Гинс до революции служил в министерстве земледелия, в 1918 году стал управляющим делами Временного Сибирского правительства, а затем Совета министров Колчака. По партийности он был кадетом — либералом, причём из левого крыла партии, — и в омском правительстве держался вместе с Вологодским, против военных и атаманов. В 1921 году в Пекине вышла его книга «Сибирь, союзники и Колчак», одна из лучших книг о гражданской войне в Сибири, где Гинс прямо писал о произволе атаманов, о бессудных расстрелах и о пропасти между Омском и деревней (т. 4 серии, гл. 16–17). В эмиграции он поселился в Харбине, преподавал гражданское право на юридическом факультете, ра-

ботал юристом на КВЖД, участвовал в составлении китайского гражданского кодекса. В 1930 году в Харбине вышла его книга «На путях к государству будущего: от либерализма к солидаризму». В 1941 году Гинс уехал в США, преподавал в Калифорнийском университете в Беркли, писал о советском праве и умер там в 1971 году.

Солидаризм, к которому пришёл Гинс, не был фашизмом. Это было течение, выросшее из французской социологии рубежа веков: общество — не поле борьбы классов, а система взаимной зависимости, и государство должно примирять интересы предпринимателей и рабочих через представительство профессий, социальное законодательство, участие рабочих в управлении. В 1930-е годы похожими идеями увлекались и католики, и часть социал-демократов, и молодые эмигранты из Народно-трудового союза. В политическом смысле это был поворот вправо: от демократии, построенной на партиях и выборах, к корпоративному государству, которое само «организует» общество. Гинс проделал его вместе с половиной Европы, разочарованной в парламентах. Но к фашизму он отнёсся как исследователь, а не как адепт: он описывал экономику фашистской Италии понятием «скованного капитализма», сравнивал её с нацистской Германией и предупреждал, что подчинение общества одной партии и её людям в хозяйственных организациях открывает дорогу злоупотреблениям (Денисов, 2019). Данных о том, что Гинс вступал в фашистскую организацию, мы не

нашли.

Фашизм в Харбине действительно был — и вырос он рядом с Гинсом, на том же юридическом факультете. В 1925 году студенты факультета основали Русскую фашистскую организацию. В 1931 году на её основе возникла Российская фашистская партия; генеральным секретарём её ЦК 26 мая 1931 года стал Константин Родзаевский — двадцатичетырёхлетний выпускник того же факультета, бежавший в 1925 году из Благовещенска. После того как Япония в 1931–1932 годах захватила Маньчжурию и создала Маньчжоу-го, партия стала её союзником: открыла в Харбине партийную школу, помогала японской военной разведке, Родзаевский предлагал японцам собрать армию из русских эмигрантов для войны с СССР. Он заявлял о двадцати тысячах активистов в 1935 году; японские и эмигрантские оценки 1938 года доходят до тридцати тысяч (Стефан). Рядом с фашистами действовал атаман Семёнов, которого японцы в 1934 году поставили во главе Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии — учреждения, без которого эмигрант не мог получить ни работы, ни документов.

Харбинский фашизм был движением молодых людей, которые выросли в эмиграции, не застали ни Сибирской думы, ни колчаковского Омска и не помнили ничего, кроме поражения и бедности. Он питался ненавистью к большевикам, антисемитизмом и японскими деньгами. С сибирским областничеством у него не было ничего общего: областники

были демократами и социалистами, фашисты — великодержавниками и вождистами. С колчаковским режимом у него было общее разве что то, что оба были против большевиков. Колчак, как мы показали в прошлом томе, не был ни монархистом, ни вождём партии, а «всероссийское заглушило» в его правительстве «сибирское»: это была военная диктатура в стиле мировой войны, а не партийное государство с массовым движением (т. 4 серии, 16.5). Его министры разошлись в эмиграции во все стороны: Устрялов — к национал-большевизму, Гинс — к солидаризму, Вологодский — в частную жизнь, другие — к монархистам. Если бы у колчаковского режима была фашистская идеология, его люди не разбежались бы так широко. Делать Колчака фашистом через позднюю эволюцию его управляющего делами — значит переносить 1930-е годы в 1919-й.

Фашизм, выросший из студенческой молодёжи, видела в те же годы и Румыния. 24 июня 1927 года в Яссах бывший студент Корнелиу Зеля Кодряну основал Легион Михаила Архангела — православное, антисемитское, вождистское движение, которое через три года обзавелось вооружённой «Железной гвардией». Кодряну начинал в студенческих союзах против «засилья» евреев в университетах, в 1924 году застрелил префекта полиции Ясс и был оправдан присяжными. В 1930-е годы легионеры убили двух премьер-министров. Как и харбинские фашисты, они не вышли ни из какого прежнего массового движения, а выросли в пустоте по-

сле войны и поражений, среди молодых людей без будущего.

Японские покровители харбинских фашистов, советские консулы, белые атаманы и эмигрантская молодёжь жили в Маньчжурии бок о бок до 1945 года. А пока, в 1929 году, на КВЖД впервые заговорили пушки.

4.5. Длинная рука Москвы

10 июля 1929 года китайские власти Маньчжурии, которыми правил «молодой маршал» Чжан Сюэлян, захватили телеграф КВЖД, арестовали и выслали советского управляющего дорогой и его помощника, а затем ворвались в советское консульство в Харбине. Москва ответила разрывом отношений и созданием Особой Дальневосточной армии под командой Василия Блюхера. Чжан Сюэлян набрал в свои войска тысячи белых эмигрантов, часть их ушла партизанить на советскую сторону. Осенью советская флотилия поднялась по Амуру и Сунгари, в ноябре десять дивизий ударили у Чжалайнора и Маньчжурии. 13 декабря 1929 года в Хабаровске подписали протокол, восстановивший прежний порядок на дороге.

Для русских Маньчжурии конфликт стал кровавым уроком. Осенью 1929 года советские отряды переходили границу у Аргуни и громили посёлки Трёхречья — края, где после гражданской войны осели забайкальские казаки и крестьяне, ушедшие от разверстки. В посёлке Тэнэхэ, по рассказам выживших, мужское население вместе с подростками расстреляли из пулемёта; священника Модеста Горбунова убили вместе с сыновьями; женщин и детей угоняли на советскую сторону (Псарёв, 2023). Сколько людей погибло в Трёхречье, точно не известно; эмигрантские источники го-

ворили о сотнях. Советская печать писала о разгроме «белобандитских гнёзд». Казаки Трёхречья, бежавшие от советской власти за границу, узнали, что граница их не защищает.

Через два года пришли японцы. В сентябре 1931 года Квантунская армия захватила Мукден, к началу 1932 года — Харбин, и в марте 1932 года появилось Маньчжоу-го — государство, которым правили японские офицеры от имени последнего китайского императора. СССР, не готовый воевать с Японией, в 1935 году продал свою долю в КВЖД Маньчжоу-го. Советские служащие дороги и их семьи поехали «на родину»; только в 1935 году из Маньчжурии в СССР выехали около двадцати тысяч человек. Через два года «харбинцы» стали одной из «национальных» целей Большого террора: 20 сентября 1937 года нарком Ежов подписал приказ № 00593 о репрессиях против бывших служащих КВЖД и реэмигрантов из Маньчжурии как «японских шпионов». По подсчётам исследователей, по этому приказу пострадали более 48 тысяч человек, из них почти 31 тысяча была расстреляна. Люди, которые в 1925 году взяли советские паспорта, чтобы не лишиться работы на дороге, и в 1935-м поверили, что едут домой, погибли почти все. Среди них был и Устрялов (4.3).

Москва дотягивалась и до тех, кто уехал дальше. 26 января 1930 года в Париже среди бела дня исчез генерал Александр Кутепов — глава Русского общевойинского союза, главной организации белых эмигрантов. Его похитили агенты ОГПУ; по наиболее распространённой версии, он умер по

дороге в Россию. Через семь лет в том же Париже так же исчез его преемник, генерал Евгений Миллер. Французская полиция искала их, газеты писали о «руке Москвы», но ни одного советского дипломата за это не выслали.

Конец сибирской эмиграции на Дальнем Востоке наступил в августе 1945 года, когда советские войска вошли в Маньчжурию. В Харбине, Дайрене, Мукдене контрразведка СМЕРШ по заранее составленным спискам арестовала тысячи эмигрантов — не только фашистов и атаманов, но и инженеров, учителей, священников, бывших министров. Атамана Семёнова захватили в Дайрене; в августе 1946 года в Москве его повесили, а Родзаевского, который сам приехал сдаваться, расстреляли. Бывший министр финансов Колчака Иван Михайлов, служивший в Харбине на КВЖД, был арестован в 1945 году и расстрелян в 1947-м. Гинс к тому времени уже жил в Америке и уцелел. Иван Серебренников, бывший министр снабжения, прожил жизнь в Китае и собрал там ценный архив по истории сибирской эмиграции. Анатолий Пепеляев, захваченный ещё в 1923 году в Аяне, сидел в советских тюрьмах; его судьба решится в 1938 году (гл. 14).

Сибирская эмиграция проиграла не потому, что её лидеры были глупее советских. Она проиграла по тем же причинам, по которым проиграла Сибирь в гражданской войне: у неё не было ни своей экономической базы, ни своей армии, ни своего государства, и она зависела от чужих — китайского, чехословацкого, японского. Пражские областники сохра-

нили идеи, харбинские служащие — привычки и быт, харбинская молодёжь выродилась в фашизм. На родине в эти годы всё решала не эмиграция, а сибирская деревня. И в конце 1927 года деревня сказала своё слово — перестала продавать хлеб. Об этом — последняя глава раздела.



Глава 5. Хлебная стачка и Сталин в Сибири

5.1. «Накопляйте!» Сибирь накануне перелома

В 1920-е годы сибирские крестьяне запомнили одно слово краевого секретаря Сергея Сырцова: «Накопляйте!» Пусть крестьянин богатеет, пусть копит, пусть заводит машины и скот — богатая деревня даст стране хлеб. Так, по крайней мере, это слово поняли в деревне. Через три года, на IV краевой партийной конференции весной 1929 года, коммунисты осудят «оппортунистический лозунг сибирских правых» — «Накопляйте, в добрый час!» — как сибирский вариант бухаринского «Обогащайтесь!» (т. 4 ИС, с. 234). А сам Сырцов к тому времени успеет стать одним из главных организаторов того, что крестьяне назовут возвратом к военному коммунизму.

Противоречия здесь нет. Мы видели во второй главе, что сибирская власть в 1925–1927 годах шла к монополии на хлебном рынке последовательнее Москвы: арестовывала хлеботорговцев руками ОГПУ, запрещала вывоз частного зерна, душила частника тарифами и налогами (2.5). Влади-

мир Ильиных, лучше всех изучивший эти годы, пишет об «антирыночных настроениях» краевого руководства и о том, что Сталин, выбирая, где начать наступление на деревню, внимательно читал обследования сибирской деревни, проведённые Сибкрайкомом в 1926–1927 годах (Ильиных, с. 12–13). Призыв «накопляйте» и ставка на монополию уживались в одной голове, потому что исходили из одного и того же: деревня должна давать государству больше хлеба, а как именно — вопрос тактики. Пока казалось, что больше хлеба даст богатеющий крестьянин, его звали богатеть. Когда выяснилось, что богатеющий крестьянин не хочет продавать хлеб по назначенной цене, его объявили врагом.

Сибирь подходила для опыта лучше любого другого края. Хозяйство здесь было товарнее, чем в европейской России; доля Сибири в посевах пшеницы СССР выросла с 13,1% в 1927 году до 16,8% в 1929-м (Ильиных, с. 5, 20). Деревня разбогатела за нэп и имела запасы. Сибирское руководство не было связано с Бухариным, Рыковым и Томским и само тянуло к жёстким мерам. И Москва была далеко: можно было попробовать то, что в Центральной России сочли бы слишком рискованным. Историки спорят, почему Сталин в 1928 году поехал именно сюда. Одни видят в поездке проверку его собственного веса в партии, другие — желание начать подальше от правых, третьи — расчёт на то, что в Сибири легче всего начать наступление на крестьянство (Ильиных, с. 12). Все эти объяснения сходятся в одном: Сибирь

выбрали как полигон.

Весной 1927 года по стране прокатилась военная тревога. В апреле в Шанхае Чан Кайши расправился с коммунистами, в мае Англия разорвала отношения с СССР, и советские газеты заговорили о скорой войне. Крестьяне сделали из этого свой вывод: в войну хлеб и деньги обесценятся, значит, хлеб надо держать при себе, а лишнее — гнать на самогон. Ведро самогона давало четыре рубля из полпуда ржи, которую государство покупало по шестьдесят копеек за пуд. В мае 1927 года заготовки в Сибири упали на 61%; те, кто придержал хлеб, по слову Ильиных, снова оказались в выигрыше (Ильиных, с. 91).

Июльско-августовский пленум ЦК 1927 года, разбирая хлебные трудности, отверг «демагогические предложения оппозиции о насильственном изъятии натуральных хлебных излишков» — такой курс, говорилось в резолюции, означал бы отмену нэпа (Ильиных, с. 103–104). Микоян предлагал поднять закупочные цены; Политбюро отказало (Ильиных, с. 106). Через полгода те же люди, которые осудили троцкистов за предложение изымать хлеб силой, сделают именно это.

Государство, которое объявляет войну вере и привычкам деревни, получало в те годы крестьянское восстание и в других странах. В Мексике президент Плутарко Кальес в 1926 году ввёл в действие антиклерикальные статьи конституции: закрыл монастыри и церковные школы, обязал священников регистрироваться у властей. Епископы в ответ прекратили

богослужения, и в Халиско, Мичоакане, Гуанахуато крестьяне поднялись с криком «Да здравствует Христос-король!». Война кристерос шла три года; в ней погибли десятки тысяч человек, армия сгоняла крестьян в «концентрационные» зоны и вешала повстанцев вдоль железных дорог. Она кончилась в 1929 году компромиссом с церковью — над головами крестьян, которые воевали. О Мексике подробно рассказывал третий том нашей серии; здесь важно одно: и в Мексике, и в Сибири революционное государство в 1926–1929 годах решило, что знает, как жить деревне, лучше самой деревни.

Пока руководство в Москве и Новосибирске спорило о ценах, сибирская деревня осенью 1927 года решила вопрос по-своему — перестала везти хлеб.

5.2. Третья хлебная стачка

1 января 1928 года сибирские заготовители подвели итоги первого квартала кампании и испугались. Из годового плана в 82 миллиона пудов было собрано 28,3 миллиона — 34,5%. Красноярский округ выполнил 5,2% плана. В ноябре 1927 года край собрал меньше 40% того, что за тот же месяц собрал годом раньше, и выполнил месячный план на 52% (Ильиных, с. 109–112). Неурожая не было: урожайность снизилась с 9,1 до 8,3 центнера с гектара, но хлеба в деревне хватало. Сводки ОГПУ сообщали одно и то же из всех округов: крестьянство воздерживается от продажи хлеба (Ильиных, с. 107, 114).

Ильиных называет это третьей за годы нэпа широкомаштабной крестьянской «хлебной стачкой» (Ильиных, с. 114). Первую мы видели зимой 1924/25 года, вторую — зимой 1925/26-го (2.5). Механизм был тот же, но размах больше. Цены на мясо в октябре — декабре 1927 года выросли по сравнению с довоенными на 72,6%, а на зерно — на 9,4% (Ильиных, с. 115). Крестьянину было выгоднее скормить зерно скоту и продать мясо или перегнать зерно на самогон — на него ушло восемь миллионов пудов (Ильиных, с. 116). Промышленных товаров в деревне было меньше трех прошлогоднего, и деньги, вырученные за хлеб, нечего было купить (Ильиных, с. 116). Слухи о войне ещё не улеглись

(Ильиных, с. 117). Но главное было в цене. На северо-востоке края цена на пшеницу упала с 96 до 82 копеек за пуд, а разрыв между заготовительной и базарной ценой вырос с 9 до 24% (Ильиных, с. 118–119). Крестьяне говорили просто: когда хлеб подорожает, тогда повезём (Ильиных, с. 117).

Самым простым выходом было поднять закупочные цены. Политбюро 24 декабря 1927 года запретило даже обсуждать это в печати (Ильиных, с. 117). Почему — понятно: дорогой хлеб означал дорогую индустриализацию, меньше экспорта, меньше станков, купленных за границей, и признание того, что крестьянин может диктовать государству. Государство, которое считало себя хозяином деревни, не могло согласиться торговаться с ней.

Советская история потом рассказывала об этой зиме иначе. В «Истории Сибири» 1968 года «хлебную стачку» объявили «кулаки», которые хотели сорвать индустриализацию и коллективизацию: сибирское кулачество, располагая огромными запасами, прятало хлеб, гноило его в погребах, перегоняло на самогон. В доказательство приводился кулак Теплов из села Первая Карповка Рубцовского округа — у него было три дома, пять амбаров, тридцать восемь лошадей, пятьдесят три коровы и пятнадцать тысяч пудов хлеба, а продавать государству он отказался: пусть, мол, лучше сгниёт (т. 4 ИС, с. 234). Такие хозяйства, вероятно, были. Но архивы, которые изучил Ильиных, показывают другое: основными держателями хлеба были середняки, и «хлебная стачка»

была «не столько кулацкой, сколько середняцкой» (Ильиных, с. 147). Хлеб придерживал не враг, а обычный крестьянин, который ждал справедливой цены. Задержка хлеба была для крестьян, по словам Ильиных, «наиболее массовой и действенной формой» отстаивания своих интересов (Ильиных, с. 13–14) — и, добавим мы, последней формой, которая оставалась у них при однопартийной власти. Ни выборной думы, ни своей партии, ни независимой кооперации у них уже не было (гл. 1–2). Был только хлеб в амбаре.

Отказ продавать свой продукт по навязанной цене — одно из немногих средств, которые есть у крестьянина против того, кто монопольно его покупает. Через три года тем же средством воспользовались африканские фермеры Золотого Берега, британской колонии на месте нынешней Ганы. Какао с их маленьких участков скупали несколько европейских фирм, сговорившихся о цене. В 1930–1931 годах фермеры, скупщики-африканцы и вожди отказались продавать какао; тогда «задержка» не удалась. В 1937 году, когда тринадцать фирм, скупавших 94% урожая, заключили новое соглашение о ценах, фермеры повторили задержку, и к февралю 1938 года продажи упали на девять десятых. Колониальная комиссия признала их претензии отчасти справедливыми и рекомендовала расторгнуть соглашение фирм. Британская колониальная администрация могла уступить фермерам. Советское государство в 1928 году уступать не стало.

В последние дни декабря 1927 года в Москве решили сло-

мать сибирскую стачку силой. Ломать её поехал сам генеральный секретарь.

5.3. Сталин в Сибири

Рано утром 18 января 1928 года на новосибирский вокзал пришёл поезд из Москвы. В нём ехал Сталин. Поездку не объявляли; сам он потом говорил, что приехал «не официально», «в порядке внутреннем» (Ильиных, с. 130). Вначале в Сибирь собирался ехать Орджоникидзе, но он «заболел», и поехал генеральный секретарь. Молотов поехал на Урал, Микоян — на Северный Кавказ, Кубяк — в Казахстан. Ещё в конце декабря Политбюро дало уполномоченным ЦК право отменять решения местных органов (Ильиных, с. 130). Документы поездки, в том числе краткие записи помощника Сталина Сергеева за 15 января — 6 февраля, хранятся в его личном фонде. Речь, напечатанная в собрании сочинений в 1949 году, написана заново и того, что Сталин говорил в Сибири, не воспроизводит (Ильиных, с. 130–131).

По дороге Сталин читал сибирские газеты. Ему понравился омский лозунг: «Кулак, спекулянт, разгильдяй — наши враги на заготовительном фронте»; вывод же он сделал такой: сибирские газеты не ведут классовой линии (Ильиных, с. 131). В тот же день, 18 января, в Новосибирске собралось расширенное бюро Сибкрайкома вместе с крайисполкомом, прокуратурой, судом, ОГПУ, кооперацией и представителями заготовителей. Исполнявший обязанности прокурора Леонидов предлагал передавать дела по статье 107 в ГПУ.

Сталин настоял на «законном порядке» — от имени прокуратуры и с освещением в печати. Один из участников, Загуменный, потом передавал его мысль: ударить надо сильно, но так, чтобы основной массе крестьянства была ясна законная причина ареста. Сырцов, который до этого предлагал провести операцию силами ОГПУ, согласился (Ильиных, с. 131–132). Бюро приняло девять мер: разверстать план по округам и пятидневкам, «выкачать» денежные накопления деревни, арестовывать держателей хлеба по статье 107, судить нерадивых председателей сельсоветов и кооперативов, мобилизовать прокуратуру, суд, ГПУ и печать, а всю верхушку крайкома отправить по округам (Ильиных, с. 132).

В записях Сергеева сохранились фразы Сталина с того заседания: кулак-спекулянт дерётся, а мы зеваем; неверно, что если ударить по кулаку, то середняк отойдёт (Ильиных, с. 132). Ссылки на нехватку товаров он отвёл одной фразой: «Товар не решает вопросы» (Ильиных, с. 132). Ильиных замечает, что промышленных товаров в деревне на деле не хватало и слова Сталина не соответствовали действительности (Ильиных, с. 133). Но это уже не имело значения. План вывоза из края в шестьдесят миллионов пудов Сталин отстоял «во что бы то ни стало» (Ильиных, с. 133).

Не все промолчали. Председатель крайсоюза кооперации Стриковский сказал, что деревню шибко дёргать не надо. Председатель краевого сельскохозяйственного банка Загуменный написал Сталину письмо: мы слишком круто пово-

рачиваем; суд за то, что крестьянин не выпускает хлеб, деревня примет как возврат к военному коммунизму, а ценность хлеба в её глазах только вырастет. Он не возражал против наказания скупщиков, но считал, что надёжнее действовать взысканием долгов и сокращением кредита (Ильиных, с. 133–134). Сталин оставил на письме пометки: «Мы админ[истративных] мер не исключали», «ха-ха» (Ильиных, с. 134). 20 января на закрытом бюро он ответил Загуменному: крестьянин поймёт, что нужно вывозить хлеб, а то ещё попадёшь в тюрьму. Обвинение в ревизии нэпа Сталин отверг: наша страна — не капиталистическая, последнее слово за государством. И произнёс фразу, которая стоит всей его сибирской поездки: аргументация силовая имеет такое же значение, как аргументация экономическая, а иногда даже больше (Ильиных, с. 134–135). На том же бюро, обсуждая весенний сев, он назвал коллективизацию единственным путём (Ильиных, с. 136).

22 января Сталин приехал в Барнаул, на совещание Барнаульского, Бийского и Рубцовского округов. Причины кризиса он видел в «праздничных настроениях» после съезда, слабом нажиме по налогам и в том, что партийные комитеты отстранились от заготовок. Нужно, говорил он, нажать по-большевистски; бураны и нехватку товаров он назвал «фетишизмом», две трети ошибок — ошибками руководства, а прокуратуру — гнилой. Коммунистов, продающих хлеб частнику, — судить (Ильиных, с. 136–138). 23 января он был

в Рубцовске, 25-го вернулся в Новосибирск и разослал телеграммы восьми окружкам с одним вопросом: может ли он сообщить Москве, что округ не сдрейфит. Томск ответил: «Округ готов», Ачинск пообещал сто процентов плана; Минусинск, Канск, Каменский округ, Красноярск, Иркутск и Тулун посмели пообещать меньше (Ильиных, с. 139). 26 января «хлебная тройка» в присутствии Сталина остановила внутрисибирские перевозки, сняла с поста одного работника, троим объявила выговоры, а Тулунский округ лишила снабжения (Ильиных, с. 140). 27–28 января Сталин был в Омске, 30–31 января — в Красноярске, где совещание семи восточных округов постановило выполнить план «безусловно», ударить по кулаку статьёй 107 «на основе советской законности», отдать бедноте четверть конфискованного хлеба и отдать заготовкам первые полосы газет (Ильиных, с. 140–141).

2 февраля он сообщил в Москву: перелом в заготовках начался. За последнюю пятидневку января в крае собрали 2,9 миллиона пудов вместо обычных 1,2 миллиона. 4 февраля потребовал снова поднять планы, и край поднял февральское задание до 22 миллионов пудов. В январе по всей стране собрали восемьдесят миллионов пудов, и Сталин назвал это большой победой партии (Ильиных, с. 143). В феврале Сибирь сдала 20,5 миллиона пудов — на 86% больше, чем в феврале 1927 года (Ильиных, с. 110, 152). «Миссия была выполнена», — подводит итог Ильиных (Ильиных, с. 143).

Мы бы сказали иначе: был найден метод.

Сибирская поездка Сталина совпала по времени с другой поездкой главы государства — и с другим уроком модернизации сверху. В декабре 1927 года афганский эмир Аманулла-хан, добившийся в 1919 году независимости страны от Англии, отправился в большое путешествие по Европе: Италия, Франция, Германия, Англия, затем Советский Союз и Турция. Его принимали как союзника, показывали заводы, армии, школы. В июле 1928 года он вернулся с программой реформ: европейская одежда в Кабуле, открытые лица женщин, светские школы, новые налоги, сокращение власти мулл и вождей племён. Через несколько месяцев страна восстановилась; в январе 1929 года Аманулла отрёкся и бежал в Италию. Афганский король вывез из Европы веру в то, что страну можно переделать указом; Сталин вывез из Сибири убеждение, что силовая аргументация действует. Его урок окажется долговечнее — и кровавее.

Метод, найденный в Сибири, имел юридическое имя — статья 107 Уголовного кодекса.

5.4. Статья 107: закон как маска

Статья 107 Уголовного кодекса РСФСР карала за «злостное повышение цен на товары путём скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок». Её писали против спекулянтов — торговцев, которые скупают товар, чтобы перепродать дороже. До 1928 года её почти не применяли. Ильиных прямо говорит, что применять её к крестьянам, которые не продают выращенный ими самими хлеб, было юридически некорректно (Ильиных, с. 144, 173). Сталин думал было изменить статью, но решили использовать ту, что есть (Ильиных, с. 177). Сибирь начала первой. 9 января 1928 года краевой прокурор предложил судить «держателей крупных запасов хлеба» по статье 107; 17 января, ещё до приезда Сталина, бюро Сибкрайкома разослало семи окружкам секретную директиву № 101/с: в каждом районе наметить от четырёх до десяти кулацких хозяйств и судить их с конфискацией хлеба силами ОГПУ, «с строжайшим соблюдением условий конспирации» (Ильиных, с. 129, 144). Сырцов потом признал, что директиву дали «на свой страх и риск» (Ильиных, с. 144).

Корректив Сталина 18 января изменил форму, а не суть. 19 января краевой суд, прокуратура и ОГПУ издали совместный циркуляр. Следствие ведёт ОГПУ; дела отбирает «особая тройка» с участием уполномоченного ОГПУ; хлеб арестуют немедленно; следствие длится сутки, самое боль-

шее трое; дела разбирают выездные сессии суда, судей для которых подбирает райком, — без участия обвинения и защиты; в приговорах не упоминать о срыве заготовок, а ссылаться на спекуляцию; конфискация обязательна; ни в коем случае не допускать оправдательных или условных приговоров (Ильиных, с. 145–146). Суд, в котором приговор известен заранее, защиты нет, а причина в приговоре указывается ложная, — это не правосудие. Это расправа, оформленная как суд. Сталин настаивал на «законном порядке» не из уважения к закону, а потому, что законная форма делала расправу понятной и потому устрашающей для всей деревни.

Директива ЦК от 13 февраля ограничила применение статьи хозяйствами, у которых больше двух тысяч пудов «излишков», и потребовала не трогать середняков; эту оговорку внёс Бухарин (Ильиных, с. 146). Сырцов прямо заявил, что не видит опасности, если местные организации будут применять статью, не ограничивая себя рамками «политбюровских» двух тысяч пудов (Ильиных, с. 146). Целью и был середняк. Репрессии, говорил Сырцов, должны отбить у середняков охоту следовать примеру кулака (Ильиных, с. 147). Кузнецкая окружная тройка велела судить и середняков — по двое на район (Ильиных, с. 147). К 21 января ОГПУ арестовало 136 «кулаков»; к концу февраля под следствием по статье 107 было 1131 человек; к 15 марта осудили 1044 человека и конфисковали 680,7 тысячи пудов хлеба — в среднем по 652 пуда с хозяйства, — а заодно 45 домов, 68 амбаров,

78 мельниц и даже предметы домашнего обихода (Ильиных, с. 147–148). К апрелю по статье 107 привлекли 1617 человек: 1227 «кулаков», 323 середняка, 15 бедняков и 52 торговца (Ильиных, с. 148). Сам Сырцов 31 января признавал, что судят крестьян с запасами в 150–200 пудов (Ильиных, с. 149). Рядом шли бессудные конфискации, закрытие базаров, подворные обходы — по сути, повальные обыски, — угрозы сломать замки и взять хлеб силой (Ильиных, с. 148–149). Под удар попал и низовой аппарат: к апрелю по статье 111 осудили 552 сельских работника, около тысячи кооператоров репрессировали, почти половину низового кооперативного аппарата заменили, сняли секретарей Славгородского и Омского окружкомов (Ильиных, с. 149–150). За «перегибы» наказывали реже и мягче, чем за невыполнение плана; по деревне ходила поговорка: лучше перегнуть, чем недогнуть (Ильиных, с. 150).

Беднякам отдавали четверть конфискованного хлеба. С января по март в Сибири прошло двенадцать тысяч бедняцких собраний, на которых побывало больше 380 тысяч человек (Ильиных, с. 151). Так власть впервые раскалывала деревню не словами, а хлебом: соседу-бедняку давали долю в имуществе соседа-середняка. Мы увидим в главе 6, как через год из этого вырастет урало-сибирский метод.

Не только хлеб, но и деньги деревни государство в эту зиму забирало «добровольно». Постановление 7 января 1928 года сделало решение схода о самообложении обязательным

для всех жителей села; самообложение могло достигать 35% оклада сельскохозяйственного налога, а потом и больше. В Барнауле Сталин сказал, что никаким законом не воспрещается брать больше (Ильиных, с. 154). Если на сход не собиралось достаточно людей, проводили повторный сход, правомочный при любом числе собравшихся; решали дело десять — пятнадцать человек. Краевой финансовый отдел потом признавал, что местами самообложение доходило до 300, 400, 500 и даже 1000% к сумме налога и вело к полному разорению отдельных хозяйств (Ильиных, с. 154–155). Крестьянский заём распространяли, по словам самого Сталина, «в добровольно-принудительном порядке»: облигациями расплачивались за сданный хлеб, должников выставляли на «чёрные доски», угрожали описью и арестом, в Минусинском округе сажали в холодный подвал, отказывались регистрировать рождения и браки. Уполномоченные говорили крестьянам: или берите облигации, или готовьте сухари (Ильиных, с. 155–157). Сход, который когда-то выгонял урядника (т. 4 серии, 8.4), впервые стал машиной изъятия.

Ссылка без суда по «чрезвычайным правам» администрации была в те же годы привычным делом и в колониальных империях. После коммунистического восстания на Яве и Суматре в ноябре 1926 — январе 1927 года генерал-губернатор Нидерландской Индии воспользовался «чрезвычайными правами», которые позволяли ему высылать подданных без суда. В 1927 году в глубине Новой Гвинеи, на реке Дигул,

открыли лагерь Бовен-Дигул. Туда отправили больше тысячи человек — не только участников восстания, но и тех, кого просто подозревали в сочувствии; многие умерли от малярии, некоторые просидели там до японской оккупации. Голландская колониальная администрация, как и сибирские тройки, не утруждала себя доказательствами: достаточно было того, что человек мешал порядку, который власть считала единственно возможным.

Сибирская деревня ответила на статью 107 так, как могла. И самыми смелыми в этом ответе оказались женщины.

5.5. Деревня отвечает

7 мая 1928 года в Славгороде толпа захватила здание окружного исполкома. Через несколько дней в Карасукском районе до 120 женщин окружили амбары с заготовленным хлебом; в селе Содомном они раздали 132 пуда хлеба, по ночам дежурили у амбаров и на три дня задержали отгрузку. Член окружкома Подчасова, приехавшая разбираться, писала, что советской власти в этих сёлах в дни выступления не было и что это был настоящий бунт. Мужчины, по её наблюдению, стояли в стороне и ухмылялись (Ильиных, с. 162–164).

Причина была простой. Весной 1928 года, после того как хлеб выкачали по статье 107 и под угрозой обысков, цены на рынке взлетели: пшеница подорожала с рубля пяти копеек за пуд в феврале до двух рублей двух копеек в мае (Ильиных, с. 162). Бедняки, которые сдали свой хлеб или получили из конфиската меньше, чем рассчитывали, остались без хлеба до нового урожая. Им не на что было его купить. Голодная деревня, у которой государство забрало хлеб, увидела этот хлеб в государственных амбарах на станции. Женщины, отвечавшие за то, чем кормить детей, пошли к амбарам. Мужчины не пошли: мужчину за такое судили бы по 58-й статье как «кулацкого террориста», а женщин власть предпочитала считать «тёмными бабами», которых «подбивает» кулак.

«Бабы бунты» 1928 года, а потом и куда более массовые женские выступления 1929–1930 годов (гл. 6–7), были не стихийной истерикой, а формой прямого действия, найденной деревней в условиях, когда любая организованная форма протеста каралась. Деревня сама распределила хлеб тем, кому он был нужнее, — так, как это сделал бы сход, если бы у схода ещё была власть.

Сопротивлялись не только женщины. Уже в январе 1928 года ОГПУ насчитало в крае девятнадцать фактов «кулацкого террора», в основном избиений; по статье 58 в январе арестовали 94 человека (Ильиных, с. 151–152). В селе Смоленском восемьдесят бывших партизан отказались платить сельскохозяйственный налог; в Шипунове 76 крестьян грозили расправой представителю райисполкома (Ильиных, с. 151). Восемь лет назад эти люди привели советскую власть на Алтай; теперь советская власть пришла к ним за хлебом (1.2). Но открытых восстаний в 1928 году ещё не было. Деревня пока надеялась, что «перегибы» — ошибка, которую исправят.

На какое-то время её надежда подтвердилась. Вслед за февральским успехом Наркомторг потребовал от Сибири на март 21 миллион пудов, край стал применять статью 107 и к хозяйствам с запасами меньше двух тысяч пудов — сначала с 500–700, потом с 400 (Ильиных, с. 158). Мартовский план выполнили лишь на 56%, в апреле собрали в четыре раза меньше (Ильиных, с. 159). Репрессии вызвали, по сло-

вам Ильиных, крайне негативную реакцию крестьян, в том числе служивших в армии; солдаты получали из дома письма о конфискациях (Ильиных, с. 159). 28 марта наркомат юстиции разъяснил, что статья 107 не может быть направлена против всей массы крестьянства, начали досрочно освобождать осуждённых, хотя и без «массовой разгрузки», 7 апреля применение статьи прекратили, апрельский пленум ЦК осудил «перегибы» — когда, замечает Ильиных, положение с их помощью уже исправили (Ильиных, с. 160–161). Уже 25 апреля Политбюро осудило «демобилизационные настроения» и вернуло статью 107. В июне в Сибирь приехал Косиор и потребовал собрать не меньше пяти — пяти с половиной миллионов пудов «при всяких обстоятельствах»; с 1 апреля по 15 июля по статье 107 осудили ещё 622 человека, повальные обыски шли «под видом изъятия самогона» (Ильиных, с. 161, 165–167). Только июльский пленум ЦК 1928 года по настоянию Бухарина и Рыкова потребовал прекратить чрезвычайные меры; Сталин не исключал их повторения. 21 июля председатель Сибирского краевого суда Кожевников запретил применять статью 107 (Ильиных, с. 168).

Итог кампании 1927/28 года: Сибирь сдала 77,8 миллиона пудов — 94,8% плана (Ильиных, с. 168–169). По цифрам власть победила. Но Ильиных подводит другой итог, с которым мы полностью согласны: уголовное преследование крестьян за то, что они не продают свой хлеб, знаменовало отказ от главного принципа нэпа — свободы крестьянина распо-

ряжаться произведённой им продукцией (Ильиных, с. 169). После января 1928 года хлеб в сибирском амбаре перестал принадлежать тому, кто его вырастил. Он принадлежал государству, которое только позволяло крестьянину временно его хранить. Нэп формально продолжался ещё год, но в Сибири он кончился в те дни, когда Сталин сказал в Новосибирске, что последнее слово за государством.

Женское восстание против изъятия, пока мужчины держатся в стороне, случилось годом позже и на другом конце света. В ноябре 1929 года в Нигерии, в британской колонии, до женщин игбо дошёл слух, что колониальная администрация собирается обложить налогом и их. Тысячи женщин из районов Оверри и Калабара вышли на улицы, осадили дома «назначенных вождей» — чиновников, которых англичане поставили над деревнями вместо прежних собраний, — и потребовали, чтобы те сдали шапки, знак власти. Женщины пели, плясали, разгромили несколько факторий и судов. В декабре войска открыли огонь; погибло больше пятидесяти женщин. «Женская война» в Абе заставила колониальную власть отказаться от налога на женщин и пересмотреть систему назначенных вождей. Сибирские женщины 1928 года добились меньшего: их бунты власть объяснила кулацкими происками и учла как довод в пользу коллективизации.

Сибирская деревня вышла из кампании 1927/28 года ограбленной, но не сломленной. Она ещё сеяла, держала скот, собирала сход. Через год власть вернётся — уже не со

статьёй 107, а с тем самым сходом, обращённым против деревни. С этого начинается следующий раздел книги.



Глава 6. Урало-сибирский метод

6.1. Передышка: осень 1928 года

В октябре 1928 года сибирская деревня сдала государству 26,8 миллиона пудов хлеба. Такого месячного итога край ещё не знал (Ильиных, с. 194–195). Год назад здесь судили людей за непроданный хлеб, ломали замки амбаров и выставляли заградотряды. Теперь хлеб везли сами, и везли столько, что заготовители не успевали его принимать. Никакого чуда не было. Урожай 1928 года дал 457 миллионов пудов против 354 миллионов годом раньше (Ильиных, с. 334–335). Летом власть отступила: заготовительные цены подняли, а чрезвычайные меры осудили. Ильиных называет причины этого успеха прямо: урожай и рыночные стимулы (Ильиных, с. 195). Когда крестьянину давали за хлеб сносную цену и не грозили тюрьмой, он хлеб продавал. Через полгода власть объявит, что без принуждения хлеба нет и быть не может. Осень 1928 года опровергает это лучше любого рассуждения.

Летнее отступление было продумано. Июльский пленум ЦК объяснил прошлогодний кризис «нарушением рыночного равновесия» и пообещал обойтись без чрезвычайных мер (Ильиных, с. 184). 19 июля Совнарком запретил обходы дво-

ров, обыски, заградотряды и применение статьи 107 (Ильиных, с. 188). В сентябре в «Правде» вышли «Заметки экономиста» Бухарина. Он предупреждал, что нельзя строить заводы из «будущих кирпичей», а равновесие между городом и деревней важнее рекордных темпов. Это было последнее открытое выступление правых в главной газете страны.

Одновременно с отступлением готовилось новое наступление, и его орудием стал налог. С весны 1928 года сельскохозяйственный налог стали считать с дохода всего двора, а не с каждого едока. Для доходов от четырёхсот рублей в Сибири ввели надбавки от 5 до 25%. Часть дворов, 1,6%, перевели на индивидуальное обложение: такой двор платил в среднем 287 рублей, а обычный — 27 (Ильиных, с. 185–186). Беднее стало больше: число освобождённых от налога дворов выросло с 360 до 556 тысяч, почти до двух пятых всех хозяйств края (Ильиных, с. 186). Деревню разрезали надвое. Одну часть освободили от налога, другую обложили вдесятеро. Обе части запомнили, кто кого. Штраф за сокрытие объектов обложения подняли с трёхкратного до десятикратного. Сибкрайисполком велел заранее, ещё до всякой проверки, оштрафовать в каждом районе 10–15 кулацких хозяйств, чтобы эти штрафы служили, по формулировке документа, предупреждением для основной массы плательщиков (Ильиных, с. 186). На местах штрафовали по 40–100 хозяйств на район и не разбирали, кулаки это или нет (Ильиных, с. 186–187). В сентябре Совнарком ограничил рост налога, крат-

ность штрафа и самообложение. Сумма налога в Сибири всё равно выросла на 56% (Ильиных, с. 187–188).

Хлебный рынок перестраивали в ту же сторону. Создали «Союзхлеб», в Сибири — на базе Сибторга, и ввели натуральный гарнцевый сбор, то есть плату за помол зерном (Ильиных, с. 189–190). 10 августа Сибкрайком наметил план в 105 миллионов пудов. Округа насчитали у себя только 97,8 миллиона, и их одёрнули за «защиту преуменьшенных планов». Наркомторг утвердил 108 миллионов (Ильиных, с. 191–193). 14 сентября краевая прокуратура и суд разослали циркуляр: агитацию против сдачи хлеба квалифицировать по статье 58/10, то есть как контрреволюцию (Ильиных, с. 192). В августе край выполнил месячный план на 22%, в сентябре — на 260%, а октябрь стал рекордным. К 1 января 1929 года Сибирь собрала 69,5 миллиона пудов, на 55% больше, чем годом раньше (Ильиных, с. 194–199).

Бедра пришла не из Сибири. На юге страны случился недород, и по Союзу хлеба собрали на 21% меньше прошлогоднего. В Брянской и Смоленской губерниях ввели хлебные карточки (Ильиных, с. 201). Бухарин, Рыков и Томский предлагали закупить зерно за границей. Сталин отказал (Ильиных, с. 202–203). Ввоз хлеба, добавим мы, означал бы признать, что деревня, которую обвиняли в саботаже, просто не может дать больше. Оставалась Сибирь с её урожаем. Ей дали самое большое в СССР задание (Ильиных, с. 197). Из гарнцевого сбора край выторговал 15% на нужды бедноты (Ильиных,

с. 197). 29 ноября ЦК и Совнарком потребовали «вовлечения сельской бедноты» в заготовки, и Сибкрайком велел обратиться к 1 января 80% годового плана. Этого не сделали, и итоги объявили неудовлетворительными (Ильиных, с. 198, 201). В сводке ОГПУ от 4 января 1929 года местные работники жаловались, что от них требуют невозможного (Ильиных, с. 203). 17 января Политбюро подняло сибирский план со 105 до 115 миллионов пудов, а край «для страховки» довёл его до 121,7 миллиона (Ильиных, с. 203–204). Так край, лучше всех выполнявший план, получил за это новый план. Успех Сибири сделал её главным донором, а значит, и главной целью.

Государство, которое само держит урожай ради цены, в эти годы существовало — только на другом континенте и в обратную сторону. В декабре 1924 года штат Сан-Паулу учредил Институт постоянной защиты кофе. Через «регулирующие склады» он придерживал урожай у побережья, выпускал его в порт Сантус малыми партиями и давал плантаторам кредит под лежащие мешки. Цена держалась высокой, плантации росли, склады наполнялись. В октябре 1929 года грянул биржевой крах, кредиты кончились, и цены на кофе рухнули. Через два года бразильское правительство начало сжигать нераспроданный кофе миллионами мешков. Бразилия показывает, чем кончается регулирование цены, оторванное от покупателя. Но в Сан-Паулу государство придерживало урожай в интересах тех, кто его вырастил. В Сибири

за то же самое — придержать хлеб до лучшей цены — крестьянина судили. Разница в том, для кого работала монополия.

Новый, увеличенный план нужно было взять у деревни, которая уже отдала больше, чем годом раньше. В январе 1929 года власть нашла для этого средство, не требовавшее ни судов, ни статьи 107. Это были соседи.

6.2. Чёрные доски

Зимой 1929 года в селе Ребриха Барнаульского округа хозяева, придерживавшие хлеб, получили письма от местного потребительского общества. Смысл был такой: бедняки и честные середняки объявили тебе бойкот, а если ещё не объявили, то объявят (Ильиных, с. 206). Подписи соседей под письмом не было, но угроза шла от их имени. Бойкот — оружие слабых против сильных, оружие ирландских арендаторов против управляющего и индийских крестьян против английских тканей. В сибирской деревне 1929 года его взяло в руки государство и направило против тех, кого само назначило сильными.

Сначала усилили денежный нажим. Предел самообложения подняли до половины сельскохозяйственного налога, паи в кооперацию сделали разными для разных групп, а в деревню повезли водку, чтобы забирать у крестьян деньги ещё и так (Ильиных, с. 204). Округа пошли дальше края: в Канском самообложение довели до 80% налога, в Минусинском для кулаков — до 100%. Превышение оформляли как добровольное согласие, выраженное постановлениями общих собраний (Ильиных, с. 205). Собрание за собранием «добровольно» облагало само себя, потому что за отказ ждал бойкот.

Механику бойкота Ильиных восстановил по документам.

Человека заносили на «чёрную доску» и объявляли врагом советской власти. Его исключали из кооперации, ему переставали продавать товары, не давали угодий, не мололи зерно, не выдавали справок. Кандидатуры «прорабатывали» на собраниях бедноты, пайщиков и на сходах, а «держателям» рассылали письма с угрозами (Ильиных, с. 206). Бийский окружком 18 января 1929 года назвал всё это откровенно: организация общественной травли крупных держателей хлеба (Ильиных, с. 206–207). К бойкоту прибавлялись хлебные демонстрации и карнавалы, на которых жгли чучела «кулаков» (Ильиных, с. 207). Прямых директив центра на этот счёт Ильиных не нашёл. Ориентиром служила «Правда», которая расписывала опыт Харьковщины и Татарии (Ильиных, с. 207). Бюро Сибкрайкома 17 января узаконило бойкот: имена держателей печатать в газетах, исключать их из кооперации, отказывать им в дефицитных товарах (Ильиных, с. 208). Телеграмма 31 января уточнила главное. Бойкот нельзя объявлять «бюрократическими приказами» председателя сельсовета, его должны объявлять массовые собрания (Ильиных, с. 208). Власть хотела не просто наказать, а сделать это руками соседей. 15 февраля задали норму: три–пять хозяйств на село. Село, которое «срывало» заготовки, целиком лишали товаров (Ильиных, с. 208).

На местах эти директивы поняли, по словам Ильиных, как разрешение на всё (Ильиных, с. 209). Самым громким стал Покровский район Рубцовского округа. В селе Усть-Козлуха

устроили карнавал с чёрными флагами, и большинство выставленных на позор «держателей» оказались середняками. Во Второй Карповке группа бедняков, назвавшая себя «Гужтруд», — «продовольственный отряд Советской власти» — ходила по амбарам и грабила их. Ворота «держателей» мазали дёгтем, собравшуюся толпу поливали из пожарной машины (Ильиных, с. 209–210). Бедняки из «Гужтруда» не были ни революционерами, ни бандитами в обычном смысле. Это были люди, которым власть объявила, что соседский хлеб — законная добыча, если отнять его от имени государства. Власть быстро поняла, что такая самодеятельность ей не нужна. 12–15 февраля статьи 107 и 58/10 запретили применять как средство заготовок, Покровский райком распустили (Ильиных, с. 209). Бедноте позволяли травить соседей по разнарядке, но не по собственному почину.

Не все в краевом аппарате принимали эту практику. Член краевой контрольной комиссии и рабоче-крестьянской инспекции В. С. Калашников назвал новое «выявление» кулаков сползанием на методы чрезвычайных мер. На следующих выборах его не переизбрали (Ильиных, с. 211). Сырцов тем временем хвалил Рубцовский округ за «чистку» деревенских коммунистов (Ильиных, с. 214). Те, кто сомневался, уходили из аппарата, а те, кто нажимал, в нём оставались.

Результат оказался обратным ожидаемому. В январе 1929 года заготовки в Сибири упали на 51%, в феврале — ещё на 14% (Ильиных, с. 211). Бойкотируемые возили зерно молоть

в соседние сёла, где их не знали (Ильиных, с. 212). Деревенские связи — родство, свойство, давние знакомства — оказались прочнее, чем рассчитывали в крайкоме. Соседи травили по приказу, но молот зерно в другом селе помогала родня, и это система предусмотреть не могла.

Отлучение от общины как способ сломить непокорных испробовали в те же годы и в Кении. В 1929 году шотландская пресвитерианская миссия у кикуйю потребовала, чтобы африканские члены церкви, учителя миссионерских школ и родители учеников письменно отреклись от женского обрезания, а вместе с ним и от Центральной ассоциации кикуйю, которая этот обычай защищала. Отказавшихся отлучали от церкви, учителей увольняли, детей не пускали в школы. Миссия думала, что общину можно перевоспитать, исключая её членов из того, без чего они якобы не проживут. Ответ оказался неожиданным. Кикуйю пели насмешливые песни о миссионерах, и колониальные власти их запретили. А тысячи людей ушли из миссий и начали строить собственные, независимые школы и церкви. Что думать о самом обычае — отдельный вопрос, и миссионеры имели основания его осуждать. Но способ они выбрали тот же, что и сибирские крайкомы: отрезать человека от общих благ, пока он не подчинится. Кикуйю на это ответили своими школами. Сибирские крестьяне — соседней мельницей.

Бойкот провалился, и в крае это поняли. Нужен был способ, при котором деревня сама выдаст хлеб и сама назовёт

тех, с кого его брать, но так, чтобы никто не мог сказать, что это приказ. Его искали в феврале 1929 года на краевой партийной конференции.

6.3. Сход без воли: рождение метода

В конце февраля 1929 года в Новосибирске собралась IV краевая партийная конференция. Делегаты спорили о том, как взять хлеб у деревни, которая перестала его везти. Снизу настаивали: хлеб удастся заготовить только тогда, когда пойдут по амбарам (Ильиных, с. 215). Предлагали разное. Стриковский, глава краевого кооперативного союза, — «кооперативную развёрстку» через собрания пайщиков. Горбунов из Канского округа — отбирать у держателей хлеба землю по статье Земельного кодекса (Ильиных, с. 215–216). Самым продуманным оказалось предложение Н. П. Крылова из Каменского окружка. Он назвал его «демократической развёрсткой». Сход сам принимает план для своего села, сам выявляет держателей хлеба и сам раскладывает на них задания. Слово «развёрстка» конференция отвергла резко (Ильиных, с. 216): оно слишком напоминало 1920 год. Через месяц само предложение вернулось — уже без названия.

Краевое руководство тем временем просило у Москвы права на открытое принуждение. На той же конференции Сырцов и Эйхе выдвинули идею принудительного займа в 10–15 миллионов пудов (Ильиных, с. 215). 27 февраля в Политбюро ушла телеграмма: заём в 15–18 миллионов пудов взять с 6–8% дворов. Тех, кто откажется, штрафовать в пятикратном размере стоимости несданного хлеба, в отдель-

ных случаях — конфисковать имущество и высылать на три года. Десятую часть изъятого отдать бедноте (Ильиных, с. 217). Политбюро отказало (Ильиных, с. 217). Отказ объяснил сам Сталин: такой заём обязательно выродится в сплошную конфискацию (Ильиных, с. 218). Генеральный секретарь был не мягче сибиряков. Он просто понимал лучше их, как это будет выглядеть. Конфискацию нельзя было называть конфискацией. Её нужно было назвать волей народа.

Нужную форму нашли на Урале. 17 января уральский план подняли с 42 до 49 миллионов пудов (Ильиных, с. 220). Ещё 25 января курганский работник Баландин называл раскладку плана по дворам на сходах буквально неправомочной (Ильиных, с. 220). Через две недели, с 11 февраля, областной торговый отдел и окружкомы Челябинска и Ишима «как опыт» стали доводить планы до сельсоветов и общин. Задания обсуждали на сходах, на собраниях бедноты, женщин и молодёжи. Комиссии содействия хлебозаготовкам выявляли «злостных зажимщиков», объявляли им бойкот и передавали материалы в ОГПУ (Ильиных, с. 220–221). Крестьяне ответили «подачкой» — сдали немного, чтобы отстали. Тогда власть перешла к подворной разверстке (Ильиных, с. 221). Шадринский окружком 8 марта расписал порядок. Середняки сдают хлеб «красными обозами», не меньше двух центнеров со двора. С зажиточных берут методом «общественного и экономического воздействия». Беднота из плана исключена. Задания по дворам определяет комиссия содействия

(Ильиных, с. 221–222). В Курганском округе сбор за пятидневку вырос с 94 до 358 тысяч пудов (Ильиных, с. 222). 13 марта в присутствии секретаря ЦК Лазаря Кагановича бюро обкома распространило метод на всю Уральскую область. Главная формула звучала так: открытая инициатива должна принадлежать не представителям хлебозаготовительных организаций или органов власти, а исходить от общественных организаций — группы бедноты, актива (Ильиных, с. 222–223).

В этой фразе и состоит весь метод. Ильиных подчёркивает, что принципиально нового в нём было одно: инициатива приписывалась «общественности», и это позволяло скрыть чрезвычайный характер меры (Ильиных, с. 223). По его наблюдению, это и было предложение Крылова, лишившееся неприемлемого названия (Ильиных, с. 223). Рыков сразу увидел здесь замаскированную попытку перехода к чрезвычайным мерам (Ильиных, с. 224). 20 марта 1929 года Политбюро, вопреки решительным возражениям Бухарина, Рыкова и Томского, одобрило новый метод для Урала, Сибири и Казахстана (Ильиных, с. 225). Японский историк Ю. Таниучи нашёл в архиве это постановление. Подворную разверстку с основной нагрузкой на «кулацкую верхушку» предписывалось изображать как инициативу самого схода (Ильиных, с. 15). Рыков потом вспоминал на пленуме, как его уверяли, что всё сделает «общественность», а власть останется в стороне. Он ответил, что это совершенно невозможно (Ильи-

ных, с. 262).

Сибирь получила метод и сразу сделала его жёстче. Резолюция бюро Сибкрайкома от 21 марта ввела твёрдые задания селениям «в порядке добровольном», а директива от 22 марта распространила их с «кулацкой верхушки» на «кулацко-зажиточную часть» деревни, то есть на зажиточных середняков. За невыполнение задания самообложение увеличивали на сумму от двух- до пятикратной цены несданного хлеба. Если на сход не собирался кворум, в тот же день созывали повторный сход, правомочный при любом числе присутствующих (Ильиных, с. 225–226). Эту норму, введённую в 1928 году, осенью отменили, а теперь вернули (Ильиных, с. 227). Пятикратный штраф взяли из статей 60–62 Уголовного кодекса, предел самообложения подняли с четверти до половины налога (Ильиных, с. 226–227). Сталин назвал метод «урало-сибирским» (Ильиных, с. 227), и это название справедливо: Урал дал форму, Сибирь — жёсткость.

22 марта газета «Советская Сибирь» рассказала читателям, как родился метод. В селе Завьялово Новосибирского округа сход по почину бедноты возложил на кулаков 65% остатка плана, а оставшиеся 35% середняки разделили между собой. Двух самых упорных обложили в пятикратном размере, и хлеб нашёлся (Ильиных, с. 227–228). Ильиных разоблачил эту историю и показал, что перед нами пропагандистское прикрытие решения Политбюро. Сход не мог пройти 21 марта, если директива ушла только 22-го. Сёл с названием

Завьялово в округе было два, и район газета умышленно не указала. Статья была скрытой директивой, которая сообщала местам нужную пропорцию: 65 на 35 (Ильиных, с. 229). Барнаульский окружком потом требовал возлагать на зажиточных от двух третей до трёх четвертей плана (Ильиных, с. 263). Завьяловский сход, вероятно, никогда не собирался. Но этот несуществующий сход стал образцом для тысяч настоящих.

Областники XIX века верили, что сибирская община и её сход — зародыш будущего самоуправления края, то, на чём вырастет областная дума. Анархисты видели в мирском сходке живой пример того, как люди решают общие дела без начальства. Урало-сибирский метод взял именно этот орган и сделал из него ширму для реквизиции. Сход по-прежнему собирался, голосовал, избирал комиссию. Но решал он уже не то, давать ли хлеб, а то, кто его даст. Власть переложила на общину выбор жертвы и вместе с ним ответственность. Крестьянин, которого раздевали по решению схода, видел перед собой не уполномоченного из города, а соседей, поднявших руки. Хуже прямого насилия только насилие, которое заставляют совершать самих пострадавших. Язык народовластия — «инициатива», «воля общего собрания», «самообязательство» — стал языком изъятия. Отмыть его потом оказалось труднее, чем вернуть отобранный хлеб.

Превращать «традиционные» институты в орудие администрации умели и колониальные власти. В Южно-Афри-

канском Союзе правительство Герцога провело в 1927 году закон об управлении туземцами. Генерал-губернатор стал «верховным вождём» всех африканцев в Натале, Трансваале и Оранжевой провинции. Он мог назначать и смещать вождей, по своему усмотрению делить и сливать племена, переселять их, управлять прокламациями. Вождь оставался вождём и говорил от имени племени, но назначало его и диктовало ему правительство в Претории. «Обычное право» превратилось в удобный способ управлять, не давая людям гражданских прав. Южноафриканские власти называли это уважением к традиции. Сибирские — опорой на инициативу бедноты. В обоих случаях от общинного самоуправления оставалась только оболочка, которой пользовалось государство.

Метод утвердили в Москве и украсили завьяловской легендой. Теперь его предстояло применить к живым сёлам. Первые же недели показали, что деревня не собирается играть отведённую ей роль.

6.4. Пятикратка и Михайловское

11 апреля 1929 года к сельсовету села Михайловского Бийского округа пришли около девятисот человек. Семьсот из них были женщины. Накануне власти опечатали амбары тридцати хлебодержателей — пятнадцать из них были середняками — и арестовали шестерых. Толпа человек в четыреста освободила арестованных. Теперь собрался весь народ. Люди избрали президиум и приняли десять требований: прекратить заготовки, вернуть хлеб и мельницы, снять бойкоты, разогнать коммуны, вернуть права лишенцам. Кричали: «Долой Советскую власть». Председателя сельской комиссии содействия, коммуниста Алексинцева, и его жену избили. Лошадь, которую раньше забрали в коммуну, вернули прежнему хозяину — «от имени народа». По донесению, беднота и батраки в большинстве своём принимали участие. 12 апреля выступление подавил отряд милиции, четырнадцать «кулаков-лишенцев» арестовали, а Ягода потребовал изъять «зачинщиков» (Ильиных, с. 238–240). Ильиных называет михайловские требования программой движения крестьян против аграрной политики большевистского режима (Ильиных, с. 239). Мы согласимся и добавим, что это была программа, принятая так, как принимал решения настоящий сход, — всем народом, с избранным президиумом и по пунктам. Власть три недели изображала волю схода, а в

Михайловском сход высказал свою волю на самом деле.

Чтобы понять, против чего восстало Михайловское, посмотрим, как метод работал в одном районе. 22 марта в Новосибирском округе создали «пятёрку» с участием заместителя полпреда ОГПУ. 23–24 марта уполномоченные выехали по районам, а дополнительные указания, как сказано в отчёте, пересылались по телефону без всякой задержки. В Бердском районе действовала своя «тройка». 26 марта прошли собрания партийных ячеек и бедноты, 27–28-го — общие сходы, и за три дня план разложили по дворам. Срок выполнения назначили на 15 апреля (Ильиных, с. 229–231). Главным орудием стала пятикратка — штраф в пятикратном размере стоимости несданного хлеба, который взыскивали бесспорно, в течение трёх дней. Половина поступлений шла в фонды комитетов крестьянской общественной взаимопомощи на кредиты бедноте (Ильиных, с. 231). Кресткомы, которые в годы нэпа помогали вдовам и погорельцам (2.2), теперь кормились чужими штрафами. Циркуляр Сибкрайкома от 9 апреля определил порядок взыскания. Сначала распродавали хлеб, включая семенной, потом имущество, а в особо злостных случаях допускалась полная распродажа, кроме домашней обстановки (Ильиных, с. 231). К маю в 13 округах края описали около восьми тысяч хозяйств и распродали имущество 4,2 тысячи (Ильиных, с. 231). Историк В. П. Данилов назвал это «кратирование» новым этапом раскулачивания, и Ильиных с ним согласен (Ильиных, с. 232). До по-

становления о ликвидации кулачества как класса оставалось почти десять месяцев, а хозяйства уже продавали с молотка.

Бойкот тоже вернулся, теперь как часть метода. Иркутская газета «Власть труда» призывала бойкотировать всех, кто живёт в районе неисправного держателя. Краевой прокурор 30 апреля описывал доски с надписью «здесь живёт враг советской власти», которые бойкотируемый должен был изготовить за свой счёт, карнавалы и комсомольские «похороны кулака» с гробом (Ильиных, с. 234). В селе Тесь Минусинского округа уполномоченный Гречанин водил группы по двадцать–тридцать человек «окуривать» дома держателей махоркой, взятой в потребобществе. В Малой Ине по улицам шла демонстрация в полтора–два человека с гармошкой (Ильиных, с. 235). Деревня сложила на это частушку: побьём кулака, разорим середняка (Ильиных, с. 235). Частушка оказалась точнее газет.

Деревня сопротивлялась сходам с самого начала. В сводке Новосибирского окружкома от 7 апреля перечислено, как срывали собрания. На них не являлись или являлись пьяными, кричали, требовали не давать голоса батракам, отказывались голосовать, ругали комиссии. Беднякам из комиссий бросали: голодранцы, вас можно купить за пятак. Держатели говорили спокойно: решайте, а всё равно не повезу. Спрашивали и о главном: а кто мерил у него излишки? (Ильиных, с. 237–238.) Уполномоченный Козьмин рассказывал о посёлке Самарском, откуда предыдущие уполномоченные попросту

бежали. Бедноту собирали отдельно, изолировав от нежелательных, собрание тянули до двух часов ночи, и голосовали, по его словам, боязливо, примерно наполовину (Ильиных, с. 237–238). Другой уполномоченный признал, что фактически дело шло о взятии «измором» (Ильиных, с. 238). Так выглядело на деле «общее собрание», которое по газетам добровольно возлагало план на кулаков. В марте Урал увеличил заготовки почти вдвое, а Сибирь собрала на 30% меньше, чем в феврале (Ильиных, с. 236).

Отказ голосовать перерастал в открытые выступления. Полпред ОГПУ Л. М. Заковский насчитал 18 массовых выступлений с 27 марта по 7 апреля и ещё 20 за 8–11 апреля и доносил: массовые волнения принимают более организованные формы (Ильиных, с. 238). Только в Бийском округе с 30 марта по 13 апреля выступления прошли в 36 сёлах, в них участвовали 6344 человека (Ильиных, с. 265). Михайловское было лишь самым крупным из них. Ильиных предупреждает против картины единого крестьянского фронта, и мы не будем её рисовать. Деревня была расслоена, старики враждовали с новосёлами, в крае числилось 275 тысяч «неприписанных» переселенцев без земли. Часть бедноты поддерживала нажим, часть — протест, а остальные молчали (Ильиных, с. 240–242). Но в Михайловском беднота шла вместе с «кулаками». Расчёт метода на то, что бедняк всегда пойдёт против соседа за долю в его хлебе, оправдывался далеко не везде.

Там, где открыто выступить не решались, действовали иначе. В первом полугодии 1929 года в крае зафиксировали 529 «кулацких террористических актов» — избиений, поджогов, убийств активистов. В 1928 году их было 204, в 1927-м — 107, и большая часть была связана с заготовками (Ильиных, с. 242). Мы не будем ни оправдывать эти расправы, ни осуждать их: деревня, у которой отняли все законные способы защиты, отвечала тем, что у неё осталось, и каждый такой ответ давал власти новый довод для следующего удара. Чаше же крестьяне выбирали тихий исход. Они сокращали посевы и скот до потребительских норм — «самораскулачивались». Из Ребрихи, по словам местного работника, выехало, кажется, до десятка семей; бежали в Бухтарму, в Казахстан, в Кузнецкий округ, и он сам называл это кулацким бегством (Ильиных, с. 242–243). Доля «мелкокапиталистических» дворов в крае упала с 6,7% весной 1927 года до 1,8% весной 1929-го (Ильиных, с. 243). «Кулачество», против которого строился метод, исчезало быстрее, чем его успевали раскулачить.

17 апреля края получили приказ с 20 апреля прекратить кратное обложение, потому что начинался сев (Ильиных, с. 243). Сталин на апрельском пленуме ЦК хвалил метод: он втягивает всё село, и через него мы создаём свою политическую армию в деревне (Ильиных, с. 244). Передышка длилась меньше месяца. 3 мая Политбюро распространило метод на все производящие районы страны, а Сибири дали до-

полнительное задание на май — июль в 12 миллионов пудов (Ильиных, с. 245–248). Прокурор РСФСР Крыленко предлагал ограничить штраф десятью рублями. Его не послушали: в конце июня ВЦИК и Совнарком узаконили штраф до пятикратного размера, а новая статья 61 грозила за групповой отказ лишением свободы до двух лет с конфискацией и высыланием (Ильиных, с. 247). Сибирь не стала ждать закона и восстановила кратное обложение ещё 17 мая (Ильиных, с. 247). Секретарь Бийского окружкома Спиров возражал, что хлеб есть и у крепкого середняка, и по пятикратке пойдут середняки (Ильиных, с. 248). Его не услышали. С 1 по 10 июня в Рубцовском округе описали 191 хозяйство и продали 130, в том числе восемь середняцких и одно бедняцкое; с 22 июня снова судили по статье 107 за «хлебные ямы» (Ильиных, с. 249–250).

В июне в Шипуновском районе того же округа секретарь райкома Данилов ввёл в восьми сёлах — Урлапове, Зеркалах, Быкове, Нечунаеве и других — сорокавосьмичасовые «ударники» с «оперативными тройками» и «боевыми штабами» (Ильиных, с. 250). В Зеркалах собрание шло около четырёх суток. Людей не отпускали домой, за 65 «кулаками» следили приставленные «комиссары». Нашли 30 ям и собрали около 12 тысяч пудов. По словам проверявших, с ударника выносили на носилках истомлённых и обморочных, а у бедноты отбирали купленный хлеб. Мобилизованные, особенно женщины, кричали, что пришёл конец света (Ильи-

ных, с. 250–251). Пятидесятивосьмилетний середняк Ф. Четырин сдал 19 пудов, оставил пять на семью и после суток собрания умер от сильного нервного потрясения (Ильиных, с. 251–252). Бюро райкома распустили, руководителей сняли с постов (Ильиных, с. 252). Больше никто не ответил. Шипуновские «ударники» с их штабами, многосуточными собраниями и мёртвым середняком стали моделью того, как через полгода будут загонять в колхозы.

Итоги лета подвели сухо. Дополнительный план выполнили на 60%; у крестьян отбирали страховые и даже необходимые продовольственные запасы (Ильиных, с. 252). За 1928/29 год край сдал 104,9 миллиона пудов — 86,2% увеличенного плана — и дал почти пятую часть всех заготовок страны (Ильиных, с. 252–253). Метод получил законодательное оформление (Ильиных, с. 253). Деревня осталась без запасов в год, когда на неё надвигалась засуха.

Сход, который выдвигает свои требования, и государство, которое отвечает на них войсками, — сюжет, знакомый не только Сибири. В ноябре 1928 года на банановых плантациях северного побережья Колумбии забастовали двадцать с лишним тысяч рабочих американской «Юнайтед фрут». Их требования, сведённые в девять пунктов, были скромны: признать их работниками компании, а не людьми подрядчиков, страховать от несчастных случаев, строить нормальные жилища, платить деньгами, а не талонами в лавку компании. Правительство объявило в районе осадное положение.

ние. В ночь на 6 декабря на площади городка Съенага войска генерала Кортеса Варгаса открыли огонь по собравшимся. Официально признали несколько десятков убитых, по другим оценкам их были сотни. Через год молодой депутат Хорхе Эльесер Гайтан сделал эту бойню предметом парламентского расследования, и о ней узнала вся страна. Михайловское обошлось без расстрела. Но и там, и в Съенаге коллективные требования власть приняла за мятеж, а не за переговоры, — и в обоих случаях за подавлением последовал не отказ от политики, а её продолжение.

К осени 1929 года метод был обкатан, узаконен и поддержан Москвой. Для новой кампании оставалось найти исполнителя пожёстче и задать сроки покороче.

6.5. «Блицкриг»

21 сентября 1929 года Сибирскому краю утвердили план хлебозаготовок в 75 миллионов пудов. Урожай в этом году был на 30% меньше прошлогоднего: валовой сбор упал до 319 миллионов пудов, а урожайность в Западной Сибири — с 8,6 до 4,3 центнера с гектара. Сибкрайком просил 53 миллиона и прямо писал, что всякое увеличение этой цифры будет нереально. Центр урезал задание всего на пять миллионов. Протестовать запретили: за «митингование о невозможности выполнения плана» исключали из партии и отдавали под суд (Ильиных, с. 275–277). Окончательно план установили в 63,7 миллиона пудов и 11,3 миллиона гарнцевого сбора (Ильиных, с. 277). По всему Союзу собирались взять 736,5 миллиона пудов, хотя годом раньше взяли 506,7 миллиона (Ильиных, с. 275). Урожай стал меньше, а план больше. Так началась кампания, которую Ильиных назвал «блицкригом» на хлебном фронте.

Вести эту войну в Сибири предстояло уже без Сырцова. Весной 1929 года его перевели в Москву председателем Совнаркома РСФСР и ввели кандидатом в Политбюро; краевую организацию возглавил Роберт Эйхе. Расскажем о Сырцове сразу, потому что его судьба многое объясняет в людях, которые строили урало-сибирский метод. В 1930 году человек, который в 1928-м говорил, что удар по кулаку был ясен с

самого начала, а в 1929-м просил у Политбюро права на пятикратку и высылку, выступил в Институте красной профессуры с докладом, напечатанным потом в «Большевике». Он высмеивал работников, которые подменяют регулирование «самыми грубыми административными наскоками». Он передразнивал их рассуждения: зачем долго убеждать крестьянина, если можно намекнуть ему насчёт Соловков или пригрозить снять со снабжения? Он предупреждал, что нельзя сначала терпеть «перегибы», а потом свалить вину на низовых работников. Соратникам он называл Сталина тупоголовым человеком, который ведёт страну к гибели. Вместе с первым секретарём Закавказского крайкома Ломинадзе он готовился выступить против сталинской политики на пленуме ЦК. Их выдали. 1 декабря 1930 года ЦК и ЦКК осудили «право-левацкий блок Сырцова — Ломинадзе». Сырцова вывели из ЦК, впервые в нарушение устава, без пленума, и отправили на хозяйственную работу. В апреле 1937 года его арестовали, 10 сентября расстреляли. Сырцов увидел машину, когда она уже раздавила сибирскую деревню. Против неё он выступил, когда она начала поворачиваться к людям его круга. В этом он не был исключением.

Эйхе в чувствах не путался. Половину заготовок, говорил он, мы берём в порядке самотёка, а вторую половину нам уже приходится выжимать (Ильиных, с. 268). Сталин на апрельском пленуме объявил, что 100–150 миллионов пудов приходится брать «организационным порядком» (Ильиных,

с. 268). Краевой циркуляр 3 июля требовал закончить заготовки в возможно ранний срок; крайний срок назначили на 1 февраля 1930 года, а Красноярский и Каменский окружкомы сами взялись управиться к 1 января (Ильиных, с. 268–269). Подворную разверстку на июньском пленуме Сибкрайкома снова предложил Крылов, автор «демократической развёрстки». 15 августа бюро крайкома ввело урало-сибирский метод в новой форме: общее собрание утверждает подворный план для всех дворов с «излишками», против кулаков применяются бойкот и статья 61 (Ильиных, с. 278–279). 13 сентября ЦК распространил твёрдые задания на кулацко-зажиточные хозяйства (Ильиных, с. 280–281). Весной метод ещё прятался за «инициативу общественности». Осенью от маскировки отказались. Кворум схода больше не требовался, а по директиве 22 сентября, если сход отказывался принять задание, его давали приказом сельсовета (Ильиных, с. 281, 292).

Тот же путь прошла контрактация. Прежде это был договор: заготовитель давал крестьянину аванс, семена или машины, а крестьянин обязывался сдать ему урожай. В 1929 году в Сибири законтрактовали 23,5% посевов зерна против 4% годом раньше. Нормы сдачи с гектара установили по классам: бедняк — 1,6 центнера, середняк — 2,5, зажиточный — 3,3, и это был лишь минимум. Договор утверждал сход, потом план раскладывали по дворам, за неисполнение судили по статье 61, а ЦК 26 августа ввёл круговую поруку

(Ильиных, с. 269–271). Ильиных называет такую контрактицию разновидностью разверстки (Ильиных, с. 331). Сельхозналог снизили, но самообложение держали на уровне половины налога и выше. Прибавились пай и займы, и все платежи сибирской деревни выросли почти на треть (Ильиных, с. 272–273). Индивидуально обложили 51,5 тысячи хозяйств — 3,3%. Такое хозяйство платило в среднем 239,5 рубля налога, трудовое — 16,4 рубля, и «кулаки» внесли 41% всего сельхозналога края (Ильиных, с. 304–305). В Ойротии самообложение дошло до 85% налога (Ильиных, с. 304).

Рынок сворачивали окончательно. 15 августа Политбюро потребовало решительных мер против «спекулянтов». К 30 сентября ОГПУ в крае арестовало 110 кулаков, 17 руководителей колхозов, 11 священников и других (Ильиных, с. 282–283). Хлеб всё равно не шёл: в августе собрали около пятой части квартального плана, в сентябре — половину месячного (Ильиных, с. 284, 289). 20 сентября Сибкрайком получил выговор от ЦК. Ответом стал приказ № 1 от 24 сентября, подписанный крайсудом, крайпрокурором, полпредом ОГПУ и краевым административным отделом: показательные процессы по статьям 107 и 61, следствие не дольше трёх дней (Ильиных, с. 286–288). Краевой работник Р. Я. Кисис объяснял провал поздним созреванием и недородом, а заодно признавал, что в потребобогатствах, кроме спичек и галош, ничего нет (Ильиных, с. 285). Голод пришёл в города самого хлебного края. С 1 октября ввели заборные книжки,

ряд мелких городов сняли со снабжения. Мука на иркутском базаре стоила до 73 рублей за центнер, а государство платило за центнер пшеницы шесть. В декабре хлеба требовали учителя и милиционеры, в Ачинском округе голодали переселенцы (Ильиных, с. 289–291).

Директива 22 сентября описала механизм «блицкрига». Окружком доводит план до села под личную ответственность секретарей райкомов. Кулакам и зажиточным дают твёрдые задания в полном размере их товарных излишков, остальным — «самообязательства». Комиссии содействия применяют установленные репрессии (Ильиных, с. 292). На кулаков разверстали 15 миллионов пудов, почти четверть плана. В Башчелакском районе на 5,25% дворов пришлось 45% плана. Заниженное задание считалось «правым уклоном», и в Барабинском округе твердозаданцам дали 345 тысяч пудов вместо краевых 100 тысяч (Ильиных, с. 292–294). Всего твёрдые задания получили 111 532 хозяйства — 7,3% дворов края. От них потребовали двадцать миллионов пудов, они сдали 16,8 миллиона — больше четверти всех заготовок. Пятикратку наложили на 14 359 хозяйств (Ильиных, с. 294–295). Крестьяне понимали, как это работает. Остальным легче будет, говорили они о твёрдых заданиях соседей (Ильиных, с. 293). Метод опирался на это понимание, а не на классовую ненависть. Но были и другие голоса. Беднота села Нижний Кучук заявила: не дадим государству ни фунта, сами голодаем (Ильиных, с. 294).

Деревня отвечала так же, как весной, только злее. К 4 ноября прошло 12 массовых выступлений, хлеб прятали в ямы, зажиточные бежали. ОГПУ учитывало «теракты» сотнями — только в одной сводке их сто, в том числе 11 убийств и 23 поджога, а за всё второе полугодие 1929 года — 606 (Ильиных, с. 294–296). Колхозы, созданные с таким трудом, вели себя как крестьяне: прятали посевы и раздавали хлеб колхозникам на трудодни, не дожидаясь сдачи (Ильиных, с. 296). Власть ответила и им: 56 колхозов распустили, 139 их руководителей отдали под суд (Ильиных, с. 300–301). Простейшие товарищества, на которые в годы нэпа надеялись как на путь кооперации снизу (2.4), оказались для власти такими же «держателями хлеба», как и единоличники.

Репрессии росли. По статье 107 к концу декабря осудили 422 человека (Ильиных, с. 297). Эйхе требовал в каждом районе двух-трёх открытых процессов, вплоть до расстрела (Ильиных, с. 297–298). По статье 61 к концу декабря осудили 4976 человек, из них 1995 выслали (Ильиных, с. 299). По статье 58 осудили 401 человека, 145 из них — к высшей мере (Ильиных, с. 300). Конфисковали 269 мельниц (Ильиных, с. 301). Уполномоченные и «штабы» творили произвол: в селе Ая инсценировали расстрелы, в Фунтиковском сельсовете пытали — там грозили ставить несдатчиков на горячую плиту. В Топтушке допрашивали без сна и обыскивали даже бедняков (Ильиных, с. 301–303). С «перегибами» начали бороться циркуляром крайкома от 8 декабря, когда, по

словам Ильиных, судьба кампании уже была predetermined (Ильиных, с. 303).

Октябрь 1929 года дал 27,1 миллиона пудов — новый рекорд, на этот раз взятый силой (Ильиных, с. 308). В ноябре собрали 19,2 миллиона, и стало ясно, что хлеб из деревни уже выкачан (Ильиных, с. 312). Политбюро дало Сибири срок до 1 января 1930 года. Пленум Сибкрайкома сам сократил его до 15 декабря (Ильиных, с. 310–311). В декабре ввели обязательную трудгужповинность: крестьяне со своими лошадьми возили хлеб, который у них отобрали (Ильиных, с. 313). К 31 декабря край сдал 62,8 миллиона пудов, за весь год — 64,3 миллиона, 100,9% плана. Это было в 1,6 раза меньше, чем годом раньше, но план выполнили (Ильиных, с. 313–314). По всей стране у деревни взяли около 23% зерна против 15% годом раньше (Ильиных, с. 314–315). Ильиных подводит итог: репрессии кампании стали своеобразным прологом раскулачивания, а её успех убедил Сталина и региональную элиту, что форсированная коллективизация возможна (Ильиных, с. 315). На пятикратку пришлось почти четверть всех раскулаченных в Сибири к середине 1930 года (Ильиных, с. 299). Списки лишенцев, индивидуально обложенных и твердозаданцев, составленные в 1927–1929 годах для налогов и заготовок, стали готовой картотекой раскулачивания (1.5). Высылки с конфискацией начались в Сибири ещё в 1929 году, и до 1930-го выслали около двух тысяч семей (Красильников, с. 11–12). Списки на высылку часто

прямо переписывали из списков лишенцев (Красильников, с. 14).

Вместе с хлебом кончилось и сибирское масло — то, чем край гордился перед всем миром. До войны масло давало почти две трети стоимости вывозимых из Сибири сельскохозяйственных продуктов, в 1928 году — уже около двух пятых (Николаев, с. 81). В лучшем 1926/27 году край произвёл 84,7% довоенного масла, и с тех пор оно больше не росло. Весной 1928 года инструкторы Маслоцентра доносили, что молочное стадо сокращается почти во всех округах (Николаев, с. 81, 86). Причин было несколько: государство держало цену на молоко ниже цены на хлеб и мясо, пашня съедала луга и пастбища, а деревню лишали тех многокоровных дворов, которые раньше давали товарное молоко. В 1927/28 году масла впервые с 1923 года заготовили меньше, чем годом раньше (Ильиных, очерк, с. 463). С мая по октябрь 1929 года, в разгар урало-сибирского метода, поголовье крупного рогатого скота в крае сократилось с 6,3 до 4,9 миллиона голов, коров — с 2,9 до 2,4 миллиона, а овец стало меньше на две пятых (Ильиных, очерк, с. 463). В декабре 1929 года Сибмаслосоюз слили с животноводческой кооперацией в Сибмолживсоюз. В начале 1930 года маслодельные артели — те самые, из которых до войны вырос знаменитый Союз сибирских маслодельных артелей, — ликвидировали, а заводы передали районным молочно-животноводческим союзам. Маслодельная кооперация как самостоятельная систе-

ма, по словам Николаева, на этом закончилась (Николаев, с. 90). В 1930 году заготовки масла по всей стране упали почти вдвое (Николаев, с. 86). Сибирское масло, которое тридцать лет кормило лондонские завтраки и сибирскую деревню, не пережило «великого перелома». Мы ещё увидим в главе 7, что стало с коровами весной 1930 года.

Обязательный бесплатный труд крестьян на государство знала тогда и Латинская Америка. В Перу закон о дорожной повинности 11 мая 1920 года обязал мужчин от 18 до 60 лет ежегодно отрабатывать на строительстве дорог от шести до двенадцати дней. Богатые откупались деньгами, а индейцы из горных общин работали, и помещики-гамоналы, распоряжавшиеся местной властью, гоняли их не столько на дороги, сколько на собственные нужды. Хосе Карлос Мариатеги, старый знакомый читателей третьего тома, писал в 1926 году, что это возрождённая колониальная мита — трудовая повинность, которую испанцы налагали на индейцев. Диктатор Легия построил на этом труде тысячи километров дорог и называл это модернизацией. Когда в августе 1930 года его свергли, повинность отменили одной из первых. Сибирская трудгужповинность декабря 1929 года прожила дольше, а «модернизация», которую на ней строили, стоила неизмеримо дороже.

7 ноября 1929 года в «Правде» вышла статья Сталина «Год великого перелома»: середняк, объявил он, пошёл в колхозы. Ноябрьский пленум ЦК потребовал «сплошной

коллективизации». На 1 октября в колхозах всех видов числилось 6,7% сибирских дворов (Ильиных, очерк, с. 464). 3 декабря бюро Сибкрайкома решило довести коллективизацию к концу пятилетки до 85%, а 15 декабря — охватить колхозами уже в 1929/30 году почти треть деревни (Ильиных, очерк, с. 464). 27 декабря Сталин провозгласил ликвидацию кулачества как класса. Хлеб у сибирской деревни уже забрали. Теперь у неё собирались забрать землю, скот и тех, кто не захочет отдать их добровольно. А в первые дни января 1930 года по таёжным дорогам на север, в Нарым, уже тянулись подводы — крестьяне уходили, не дожидаясь, пока за ними придут.



Глава 7. Серп

7.1. Подводы на Нарымском тракте

Во второй половине января 1930 года через Баксинский район Томского округа на север, в нарымскую тайгу, шло по 150–300 подвод в день. С 15 по 31 января их прошло около двух тысяч. 4 февраля заградотряд задержал сразу сто подвод (Красильников, с. 70). На санях ехали семьи с детьми, с тем скарбом, что успели увязать, с коровой на привязи. Никто их не высылал. Они уходили сами, не дожидаясь, пока за ними придут. Красильников подсчитал, что в январе 1930 года в тайгу ушло от трёх до четырёх с половиной тысяч семей — вдвое больше, чем потом выслали по той же дороге. Государство, пишет он, повторило маршруты беженцев и сознательно отказалось от возможности организовать переселение (Красильников, с. 71). Сибирская деревня знала, что её ждёт, раньше, чем это объявили в газетах.

Объявили скоро. 27 декабря 1929 года Сталин провозгласил ликвидацию кулачества как класса. 5 января 1930 года ЦК принял постановление «О темпе коллективизации»: главные зерновые районы должны были закончить её осенью 1930-го или весной 1931 года, а Сибирь и другие зерновые районы — осенью 1931-го или весной 1932 года (очерк, с.

468—469). На сибирскую коллективизацию Москва отводила два года. Краевое руководство решило, что этого слишком много. 2 февраля 1930 года Сибкрайком по инициативе первого секретаря Эйхе поставил задачу завершить коллективизацию весной того же года (очерк, с. 469).

Дальше цифры говорят сами. В конце декабря 1929 года в колхозах числилось 7% сибирских дворов, к 20 января — 10,6%, к 1 февраля — 19,1%, к 10 февраля — 31,8%, к 20 февраля — 42,3%, к 10 марта — 52,9%. Число колхозов с 20 января по 10 марта выросло с 3970 до 8548. В Бийском округе коллективизировали 71,9% дворов, в Барабинском — 75,5%, в Ойротии — 85,9%. Бийская окружная газета «Звезда Алтая» 4 марта выдвинула лозунг закончить коллективизацию в несколько дней (очерк, с. 469). За пять недель половину сибирской деревни, которая веками жила своим двором, записали в колхозы. Записали — потому что никакого колхоза за этими цифрами чаще всего не стояло. Были списки, протоколы собраний и уполномоченный из района, а хозяйство, работа и общий амбар появлялись потом, если появлялись вообще.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.